

# Енисей

№ I  
2022



Красноярский литературно-художественный  
и краеведческий альманах





# Енисей

№1 \* Красноярский литературно-художественный  
2022 и краеведческий альманах

Михаил Тарковский главный редактор

Александр Ёлтышев заместитель главного редактора

Ольга Гуляева редактор отдела прозы

Сергей Кузнечихин редактор отдела поэзии

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр Астраханцев прозаик, член Союза  
российских писателей

Леонид Бердников краевед, председатель  
историко-патриотического  
общества «Краевед»

Иван Булава прозаик, первый секретарь  
Сибирского представительства  
Союза писателей России и Белоруссии

Марина Москалюк доктор искусствоведения,  
профессор кафедры культурологии  
и искусствоведения ФГБОУ ВО  
«Сибирский государственный  
институт искусств имени  
Дмитрия Хворостовского»

Михаил Северьянов доктор исторических наук, профессор,  
заведующий кафедрой истории  
России Гуманитарного института  
ФГАОУ ВО «Сибирский  
федеральный университет»,

Александр Щербаков поэт и прозаик, член Союза писателей  
России, заслуженный работник культуры РФ

\* Красноярск  
«КАСС»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря  
финансовой поддержке министерства  
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов.

Редакция не вступает в переписку.  
Тексты не рецензируются.

В оформлении обложки использованы  
фрагменты картин «Небо» и «Сила жизни».  
Художник Александр Попп.

Адрес редакции:  
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,  
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов  
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 30.06.2022

Тираж: 500 экз.

Формат: 70 × 100 / 16

Объём: 15,28 усл. печ. л.

Номер заказа: 2768

Отпечатано в ООО «Типография КАСС»  
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, стр. 23;  
т. (391) 290-22-52, 259-59-60  
info@kass24.ru www.kass24.ru

© КГБУК «Дом искусств», 2022

ISBN 978-5-6046942-9-9

# Содержание

## ЮБИЛЕЙ

Сергей Кузнечихин

*Однолюб* 5

Борис Петров

*Про валенок бабушки*

*Пришвина* 11

Сергей Аринчин 21

## ПРОЗА

Сергей Задереев

*Рассказы* 27

Виктор Самуйлов

*Чик* 43

Наталья Скакун

*Мизерные трагедии* 53

Марат Валеев

*Рассказы* 63

Андрей Пучков

*Кровь и крапива* 79

Альбина Мамаева

*Гостя дорогая* 90

Татьяна Кырова

*Безмятежность* 100

## ПОЭЗИЯ

Геннадий Васильев 103

Оксана Горошкина 108

Геннадий Калашников 113

Александр Левченко 119

Михаил Мельниченко

*Про это* 123

Дмитрий Филиппенко 127

## ФАНТАСТИКА

Ольга Немежикова

*Верный* 131

## ВОСПОМИНАНИЕ

Евгений Попов

*Город К.* 145

## ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Елена Половинкина

*Памятник в глухой тайге* 168

## КРАЕВЕДЕНИЕ

Николай Юрлов

*Ренессанс старинного промысла* 171

Авторы 183

## Сергей Кузнечихин Однолюб

Ко времени знакомства мы успели обрести друзьями. Петров рыбачил в своей компании, я — в своей. По грибы он ездил на машине с семьёй, я — в электричке. В быту практически не общались: редкие случайные встречи — и не более, даже без захода в забегаловки. Но отношения были добрые. В своё время ко мне случайно попал протокол заседания издательского худсовета, и Петров был единственным, кто не бросил камень в начинающего сочинителя — такое не забывается. Тесной дружбы не образовалось, но рыбак рыбака всегда найдёт, чтобы поделиться впечатлениями, ну и похвастаться, как же без этого. Хотя рыбаки мы были разные: он ездил круглый год на озёра и речки возле Красноярска, а я по осени забирался с друзьями на Север и сплавливался по притокам Енисея или Подкаменной. Мы тоже не браконьерили, ловили только на удочки или спиннинги. Сетёшку на всякий случай брали, но привозили, не замочив — не было нужды. Вытащить трёхкилограммового ленка на спиннинг или выбрать его из сети — ощущения несопоставимые. Когда я рассказывал, как сгибает удилище чёрный горбатый хариус весом под килограмм, Петров не удивлялся, но и не завидовал, только хмыкал полупрезрительно. Не потому, что сомневался, знал, что я не преувеличиваю, но был уверен, что на дикой северной речке крупного хариуса или даже тайменя может поймать любой, а выловить «белячка» длиной двадцать пять сантиметров в окрестностях Красноярска дано далеко не каждому, потому как умение требуется. Когда речь зашла об импортных безынерционных катушках, он сказал, что ему дарили их штук десять, а он передаривал, потому что много лет и нервов потратил на отечественные, пока не научился кидать без «бород» и класть блесну именно в то место, которое наметил. Есть, конечно, в этом определённый снобизм, но мастерство всегда заслуживает уважения. Хотя лично я не понимаю, зачем отказываться от более удобной снасти.

К моей рыбацкой книжке «Омулёвая бочка» Петров отнёсся довольно-таки прохладно. И я его понимаю. Человек давно и ответственно писал о природе с надеждой, что читатель найдёт в его книгах нечто новое и обязательно достоверное. Получилось, что я посягнул на святое для него и дело всей жизни превратил в балаган. Мне кажется, он думал именно так. Думал, но не говорил. Он вообще не обсуждал мою прозу. Стихи ему нравились больше. В последнее время он стал одним из первых слушателей свеженаписанного.

Встречались редко, но перезванивались регулярно. Основные батальи проходили по телефону, и довольно-таки жаркие. Каюсь, иногда я специально провоцировал его. Борис Михайлович долго работал в газетах. Начинал в районке, закончил собкором «Известий», и никаких иллюзий о свободе советской печати у него не было. Но в силу характера он привык отвечать за свои слова, поэтому расхристанность, хлынувшая на страницы перестроечной прессы, раздражала, а порой и бесила его. Не мог он равнодушно относиться к тому, что репортёр «жёлтой» газетёнки «Комок» пренебрежительно пишет об олимпийском чемпионе Власове, выдвинувшем свою кандидатуру на президентские выборы, пусть даже и не одобрял поступок легендарного тяжелоатлета.

— Да кто он такой, чтобы называть Власова «отработанным материалом» или Каспарова, запанибрата, «Гариком»? Шпана! Распустились, знают, что их стряпня не дойдёт до тех, кого они оскорбляют, вот и твякают.

Очень болезненно воспринимал развенчивание героев войны. Он вырос в семье оружейника, жадно слушал мальчишкой сводки Совинформбюро, воспитывался на подвигах Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло — и вдруг оказывается, что амбразуру закрыл собой вовсе не Матросов и направил горящий самолёт на вражескую колонну не Гастелло, а Маслов... Поработав в «Известиях», Борис Михайлович задолго до перестройки знал, что подвиг панфиловцев придумал главный редактор «Красной звезды» Ортенберг, но находил оправдания для коллеги-газетчика. Понимал, что разбираться в подробностях боя не было ни возможности, ни времени — не до того, если враг на подступах к столице. Но пусть даже и придуман этот бой, раздражало злорадство, с которым смаковали ниспровергатели свои разоблачения, порою весьма сомнительные. Он был уверен, что без мифов и легенд не обошлась ни одна война, а без пропаганды героизма — не побеждают.

В юности он оказался на развилке трёх дорог: музыка, футбол и литература. Победила литература, однако не исключал варианта, что если бы всерьёз отдался спорту, мог бы дорасти до классной команды. Потом уже, пытаясь оправдать выбор, рассуждал, что прогнозы в любой карьере — занятие неблагодарное, а в спорте — особенно. Слишком много коварных случайностей подстерегают футболиста. И не только травмы.

Игроком не стал, но болельщиком оставался до последних дней. Каждый год ждал открытия сезона как праздника. Если шли игры в еврокубках, случалось, засиживался до ночных трансляций, бывало, и будильник ставил. Он не болел за конкретную команду, но постоянно был против «Спартака». Почему? Потому что категорически не соглашался с его званием «народной команды». Когда чемпионат из всесоюзного превратился в российский и «Спартак», собрав сливки

с других команд, на десятилетие прописался на чемпионском пьедестале, нелюбовь переросла в ненависть. Единственной командой, имеющей безоговорочное право называться *народной*, он считал красноярский «Енисей» в русском хоккее — команду, за которую играют воспитанники местного клуба, мальчишки чуть ли не с одного двора. Виктор Ломанов привёл на стадион младшего брата Сергея, который стал лучшим в истории русского хоккея. А Сергей воспитал сына — Сергея Сергеевича, не посрамившего отца и приумножившего славу династии. По ходу рассуждения досталось и артистическим династиям, где посредственные отпрыски выезжают на славе знаменитых родителей. Стадион безжалостнее сцены, а болельщик эмоциональнее зрителя. Он не прощает плохую игру, как прощают детям знаменитых актёров, и тренеры, в отличие от режиссёров, не будут подыскивать местечко в составе в ущерб команде. Историю «Енисея» Петров считал уникальным случаем истинного патриотизма. Не было подобного в большом спорте, чтобы команда десятилетие держалась на вершине успеха, регулярно поставляя игроков в сборную на чемпионаты мира, и при этом не разбазарила своих воспитанников по столичным клубам.

Надо уточнить, что разговоры эти велись в советские времена, но и тогда столица не церемонилась с провинцией. Напомнил ему о хоккейном ЦСКА, но Борис Михайлович нашёл для армейцев оправдание: парней забирали в интересах сборной, которая достойно защищала честь страны, а успехи футбольной сборной, пусть и весьма скромные, остались в далёком прошлом, когда играли Стрельцов, Иванов, Понедельник... Для «Спартака» у Бориса Михайловича внятных оправданий не находилось. Да и не искал. Просто не любил из поперечности характера.

Вполне извиняемый «порок», без которого невозможен серьёзный писатель. Он получал наслаждение, наблюдая за хорошим футболом, и всё-таки в первую очередь ставил результат. Ну а я был инертным болельщиком и активизировался лишь при появлении футболиста с красивой игрой. Петров называл это женским взглядом на футбол. Эпитет «женский» для него был почти ругательным.

Симпатии наши не совпадали. Ему нравились киевляне и немцы, мне — тбилисцы и бразильцы. Он был не только страстным, но и квалифицированным болельщиком, я — дилетантом. Он горячился, а я поддразнивал.

Кстати, страстным болельщиком был и Астафьев, чего никак не могли принять его интеллигентные почитательницы. Обойтись без разговоров о Викторе Петровиче мы, разумеется, не могли. Если, к примеру, наши взгляды на прозу Распутина и Маканина во многом не совпадали, то к Астафьеву относились практически одинаково. Оба восхищались его изобразительной мощью, оба видели психологические натяжки в характерах и схематизм отрицательных героев.

Отмечали много неточностей в деталях. В той же «Царь-рыбе» каждый из нас отыскивал чисто рыбацкие ляпы. Дотошный и многоопытный рыбак Петров подобного не допускал, но трезво понимал, что все мелкие ошибки сторицей окупаются красочностью астафьевской живописи. Точность обязательна для справочников и определителей, а художественная проза имеет право позволить себе некоторые вольности, они её не испортят, особенно прозу такого мастера, как Астафьев. Ему позволено, а нам, грешным, остаётся заботиться о достоверности.

Если у меня возникали вопросы о рыбах, птицах или грибах, я звонил Борису Михайловичу. Он знал очень много, а если не знал или был не уверен, никогда не пускался в демагогические разглагольствования вокруг да около, дабы сохранить престиж. Разумеется, многое он черпал из книг, но основной багаж был собран многолетними наблюдениями и отредактирован ответственностью за каждое написанное слово. Я не любитель литературных пьедесталов, но мне кажется, что книга Петрова «С полным коробом из леса» не менее интересна, нежели солоухинская «Третья охота». Солоухин лиричнее, зато Петров подробнее и глубже. Впрочем, не надо сталкивать две хорошие книги. Оба автора прекрасно справились с задачами, поставленными перед собой. Адресованную детям книжку «Почему — карась?» я читал в серьёзном возрасте и с приличным опытом общения с природой, и всё равно было не только интересно, но и познавательно. А все эти знания приходилось добывать ножками, блуждая по таёжным буеракам, спускаясь в глубокие распадки и поднимаясь на высокие горки.

В семьдесят два года он уходил в тайгу на два-три дня, таская на горбу, что подстелить ночью под себя и чем укрыться. Ну и ружьё, разумеется. Когда подошло время очередной регистрации, решил, что тратить время на эту казённую процедуру и платить деньги за новый пятилетний срок нет смысла, и подарил ружьё сыну. Я в то время работал сторожем через квартал от его дома. Борис Михайлович пришёл поздно вечером, выставил початую бутылку. Я даже удивился: так уж сложились наши отношения, что вдвоём мы никогда не выпивали. Он объяснил, что подкатила тоска, захотелось устроить поминки по ружью, а в одиночку не пошло. Позвонил мне, жена сказала, что я на дежурстве. Он, конечно, был уверен, что мужик, который никогда не имел собственного ружья, понять его не в состоянии, но хотелось выговориться. Вроде и не в чужие руки отдал — родному сыну подарил, а всё равно не по себе. Надеялся, что расстанется безболезненно, а получил целый набор дурных мыслишек, даже предателем себя почувствовал. Потом понял, что это страх перед наползающей старостью. Когда допили водку и он собрался уходить, спохватился уже возле двери:

— Чуть не забыл, подарок тебе принёс, — и достал из сумки шикарно изданный мемуарный двухтомник местного классика. — Возьми,

полистай, не могу это враньё дома держать. Оказывается, и он пострадал от советской власти, будучи при больших должностях и поимев от неё все, что можно, и даже более того. Так нет же — униженным и оскорблённым себя считает. Не исключаю, что и сам поверил в это.

В последние годы, как любого не избалованного славой писателя, его стал беспокоить вопрос: «Вот уйду — и забудут». Не слишком навязчиво, но тем не менее периодически напоминал о себе, и в наших разговорах это проскальзывало. Человек он был трезвый, гениаманией не страдал и всё-таки всю жизнь работал, регулярно печатался, издал полтора десятка книг. . . Более того — книг, у которых был верный и заинтересованный читатель, Впрочем, он не одинок. Припоминаю разговор.

— Слава достаётся злободневной литературе. О ней пишут расторопные критики, интеллигенция обсуждает в своих курилках. Надо было выбирать острые темы, — посмеивался я.

— Этой остроотой я в газетах объелся. А критики — суета, обслуга. Спорят громко, но недолго. Острая тема притупляется, сменяется другой, и модную книгу перестают читать. Кто, например, помнит «Сталь и шлак» или «Битву в пути»?

— О последней слышал и фильм вроде смотрел.

— А помнишь, о чём он?

— Забыл, но гельмановскую «Премия» приблизительно помню. Ух как нашумела! Какие споры кипели!

— И быстренько выкипели. Пшик остался.

— Но только не в кармане автора.

— Для того и старался. На книгах о природе много не заработаешь. Они для души, а не для славы, как в песне поётся. А ты, кстати, слышал, как поют дрозды?

— Певчих — не довелось, только крикливых, — и я добавил в разговор свою обязательную ложку дёгтя: — Проблема не в том, что ты пишешь о природе, а в том, что фамилия Петров не приспособлена для славы.

— А как же Евгений Петров, написавший «Двенадцать стульев»?

— Счастливое исключение. Но опять же он идёт в пристяжке с Ильфом.

— Получается, что для славы любому Петрову необходим свой Ильф, — усмехнулся Борис Михайлович.

В конце девяностых он согласился редактировать альманах «Енисей». Должность главного редактора всегда почётна, но соблазнил его в первую очередь отсутствием цензуры. Печатать можно было всё, что пожелаешь, но деньги на издание требовалось добывать самому. В советское время о подобных заботах он даже не подозревал. Не приученный обивать пороги высоких кабинетов, выпустил пару номеров и попросил отставку.

Следуя старому принципу: если хочешь, чтобы работу сделали качественно, сделай её сам, — Борис Михайлович написал две автобиографические книги: «Осенний поезд» и «Жизнь, житуха, житие».

Труд этот без преувеличения можно назвать летописью эпохи. Туда вошли не только личные переживания, но и то, чем жила Россия в период между Великой Отечественной войной и перестройкой. Многолетний опыт собкора «Известий», разумеется, расширил диапазон его интересов, но не менее ценны страницы, посвящённые послевоенной юности. Одним из ярчайших воспоминаний стало общение с другом отца легендарным Шпагиным, изобретателем ППШ, с которым довелось сживать у охотничьего костра. (К слову, именно Шпагин давал Борису рекомендацию в комсомол.)

В пожилом возрасте пишется тяжело. Досаждают болезни. Боялся, что не успеет закончить книгу. Иногда, в период сезонных обострений, жаловался, что устал и хочется на Бадалык (красноярское кладбище) — улечься рядышком с Валюхой. Поженились они в молодости, и до самой смерти она была для него не просто женой, но и лучшим другом и советчиком. Овдовев, он даже в мыслях не мог представить рядом с собой другую женщину. В разговорах проскальзывало, что на встречах с читателями иные одинокие дамочки пытались завести более близкое знакомство, но, кроме раздражения, их попытки ничего не вызвали. Иногда мне казалось, что после смерти своей «Валюхи» он стал женоненавистником. Любил навестить её на кладбище, и если погода позволяла, возвращался пешком, заходя в перелески между Бадалыком и Нанжулем — посмотреть дикую клубнику, грибы, шиповник... словно в подарок ей набрать.

Книгу всё-таки дописал. Отдал сыну машинописный вариант, чтобы тот перенёс его в компьютер. Можно было облегчённо вздохнуть и отдаться зимней рыбалке. Хорошо помню тот вечер, когда он по телефону похвастался, что принёс трёх (или четырёх) хариусов. Я по привычке начал подшучивать: дескать, «белячков», наверное, добыл, маломерков. Он заверил: хариусы для Енисея вполне приличные, граммов по двести. Жена моя услышала разговор и попрекнула, чтобы не издевался над пожилым человеком. Я успокоил: дескать, он давно привык и не обижается. А утром мне позвонили, что Бориса Петрова не стало.

Тело обнаружил сын. Борис Михайлович упал на пути из кухни в свой кабинет. Он даже рыбацкие ватные брюки не успел снять. На столе стояла недопитая чекушка. Красивая мужская смерть: дописал книгу, сходил на рыбалку и упал, никого не обременяя.

До восьмидесятилетнего юбилея не дотянул считанные дни, но заставляла держаться не дата, а недописанная книга.

Первые месяцы после похорон меня постоянно тянуло позвонить ему: прочитать новое стихотворение, обсудить очередной футбольный матч, рыбалку... даже при утрате близких такого не было.

Борис Петров

## Про валенок дедушки Пришвина

На одном — не помню, писательском или читательском, — собрании известный и очень уважаемый красноярский книголюб Иван Маркелович Кузнецов в своём выступлении назвал меня «сибирским Пришвиным»: посмотрите, мол, как он (то есть я) тонко чувствует и рисует природу. Я к словам почтенного книгочея и собирателя отнёсся, ей-богу, без особого пиетета. Это определение уже стало устойчивым словосочетанием, присваиваемым вроде переходящего приза. В пятидесятых годах в Красноярске так величали Николая Устинóвича, затем вот досталось мне. В Куйбышеве, помню, водился свой местный Пришвин, на Дальнем Востоке — свой, да не один. Почти как у церкви: в каждой епархии значатся свои местнотимые угодники...

А если всерьёз, то должен признаться, что отношения с творчеством Михаила Михайловича Пришвина у меня в самом деле давние и особенные, можно даже сказать — личные.

Начать с того, что когда мы жили перед войной в подмосковном Загорске, однажды отец привёл нас с братом на тихую пустынную улицу — сплошь деревянные дома с заборами и садиками за ними, — показал на одну из усадеб и со значительным выражением произнёс: «А вот здесь живёт писатель Михаил Пришвин». Не исключено, что папаня устроил эту прогулку специально: он книги о природе читал и даже любил цитировать Л. Сабанеева, Ф. Тютчева, Н. Некрасова. Правда, он не знал, что Пришвин уже второй год как переехал в Москву, но мы в гости и не собирались. Я имя писателя слышал впервые, но всё равно впечатление было необычным: авторы существовали для меня лишь как одна из деталей оформления обложки, а тут вдруг — живой, сошёл на землю и сидит у одного из окошек, глядевших на улицу, только что за цветами на подоконнике его не видно. Родилось незнакомое раньше чувство личного соприкосновения. Эпизод в моей биографии мимолётный, однако имевший странное, почти мистическое продолжение.

В Москве жила семья нашего дяди, материного брата, и по обычаю сороковых — пятидесятых годов мы, приезжая в столицу, всегда останавливались у них. Адрес квартиры был — Клементовский переулок, который неподалёку выходил на улицу Пятницкую, одну из главных в Замоскворечье. А если Пятницкую в этом месте пересечь, то попадёшь в Лаврушинский переулок, в котором располагается Третьяковская галерея. Поэтому неудивительно, что в каждый приезд в Москву я

обязательно посещал Третьяковку, и это случайное обстоятельство сыграло значительную роль в моём юношеском воспитании.

Однажды идём по Лаврушинскому, и мой столичный путеводитель, двоюродный брат Валентин, говорит: «А вот этот новый дом называют „писательским“, в нём живёт много знаменитостей». — «Например?» — «Ну... Пришвин». Вот, ёлки-палки, опять он! Сколько писателей в стране, а меня словно нарочно кто-то, как котёнка, приучая к молоку на блюдечке, снова и снова тычет носом в одно место.

Я с детства увлекался чтением о природе, но «Лесная капель» Пришвина (первого, 1943 года, издания) попалась мне, когда я учился уже классе в седьмом. Впечатление эта книга произвела... сначала как бы некоторой растерянности. Нет в ней увлекательных приключений, нет новых полезных сведений о природе, но до того тепло становится от чтения на сердце! Как будто я сам в лесу всё так и переживал, так и любил, но не умел выразить переполнявшие чувства. А он взял и сказал за меня. Необыкновенное ощущение.

Довольно рано я разделил для себя книги о природе на два направления, условно так и обозначив их — «Бианки» и «Пришвин»: литературу с познавательным содержанием и с лирическим. Бианки и его последователи — а их много, том числе талантливых, — художественно рассказывают о природе, живо и увлекательно описывают её, развивая у юных читателей любознательность и заботливое отношение к животному и зелёному миру Земли. Святое дело. А Пришвин — за которым школы, надо признать, никакой не возникло, — он, ежели вникнуть, писал... не о природе. А о чём? Его рассказы и заметки не просвещали — они воспитывали чувства. Я с увлечением читал и тех, и других, у первых брал знания, у него — любовь и переживания.

А позже, когда сам стал пробовать перо, то воспользовался и его литературной формой лирической миниатюры. Чего уж тут отпираться, легко попал под влияние мощного пришвинского таланта. Обычный этап в становлении начинающего автора. Прихожу на вальдшнепиную тягу. Тёплый весенний вечер, вдыхаю запахи забродивших почек, всякие чувства переполняют грудь — хочется что-то записать, отпить из чаши впечатлений, чтобы не расплескалось. Достая блокнотик и черкаю: «Деревья распускаются, вечер освящения почек...» Стоп! Но это же его слова, он даже использовал их для заголовка одной из «капель»! Не-ет, так дело не пойдёт, надо искать какие-то слова собственные. О своём, как вижу и чувствую я, как сам думаю. А иначе — зачем? Начался этап серьёзного ученичества.

Огромную роль для моего литературного взросления сыграло в этот период чтение не рассказов, а дневников Пришвина, то есть я стал уже не простым читателем, а сугубым любителем с профессиональным интересом. Дело в том, что на один из дней рождения брат Володя подарил мне шеститомное собрание сочинений Пришвина (а ведь

мог бы подарить что угодно, и даже если книги, то другого автора). Мои познания и понимание творчества писателя пошли вглубь. Биография у него оказалась прелюбопытнейшая.

Родом из Елецкого уезда на Орловщине. Мать из купеческого сословия, но приобрела поместье. В ранней молодости год отсидел в тюрьме за пропаганду марксизма в рабочем кружке. В России после такого в университеты не принимали — уехал получать высшее образование в Лейпциг. Любопытно: окончил философский факультет, но... агрономическое отделение, и вышел дипломированным специалистом по клеверу. С уклоном в философию Ницше.

Вернувшись в Россию, агрономическую службу скоро бросил и отправился путешествовать по Архангельской губернии, в «края непуганых птиц». Причём вовсе не ради охотничьего интереса. С детства он этого пристрастия не имел, ружьишко приобрёл только с целью чувствовать себя в диких лесных краях безопаснее. И появившаяся в результате путешествия книга очерков главным содержанием имела не природу и тем более не охоту, а, скажем так, этнографические записки. Но исполненные так, что понравились А. Блоку, И. Бунину, М. Горькому, А. Ремизову, З. Гиппиус, кружок которой Пришвин стал посещать. Началась — в тридцать три года! — литературная карьера. Но ненадолго — полыхнула революция.

Поместье в Елецком уезде мужики сожгли, самому пришлось бежать. Десять лет скитался по сёлам и городкам, то сельским учителем, то добывал пропитание охотой, писал очерки о сапожниках, печатал охотничьи рассказы — всё ради заработка. Однако народу нравилось, особенно про охоту. Лишь в 1926 году вышла книга, с которой начался подлинный, известный сегодня «певец природы» Михаил Пришвин. Она называлась «Родники Берендея». Видимо, на гонорар за неё Михаил Михайлович приобрёл наконец-то собственное жильё — тот самый дом в Загорске. Ему было уже пятьдесят три года!

Узнаю новые и новые подробности его жизни, а сам всё время прикидываю на себя: да, чтобы чего-то добиться в литературе, в России надо жить долго. Я тоже поздно начал: первый рассказ опубликовал в двадцать девять лет, первую книжицу выпустил в тридцать четыре года. Но у меня время ещё есть. Жил он вдали от шумных центров, в литературных битвах двадцатых-тридцатых годов не участвовал. В дневнике с усмешкой писал: а вот-де перестану сочинять в лесу на пнях и куплю себе настоящий писательский стол! И... я наивно верил, будто он действительно сочинял в лесу на пнях.

Однажды он взял и поехал на всю весну на костромские волжские разливы, «в края деда Мазая», поставил посреди природы дом на колёсах и прожил от первого таяния до распускания листвы на деревьях. И какая получилась книга, одна из любимых — «Неодетая весна». Вот как надо жить и писать! Он это называл «родственным вниманием» к природе и «поведением», которое в творчестве считал важнее мастерства.

Каким был его мир в рассказах и лирических миниатюрах? Прекрасным. Мир доброты и любви, за текстами ощущался добрый и мудрый человек. Например, он говорил: природы как таковой нет без нас, душу в неё привносит поэт, красота — явление человеческого восприятия. М-да, вообще-то подобные суждения отзываются идеализмом. Хотя философских, марксистских характеристик можно избежать и назвать помягче: романтика, поэтическое видение, — тогда пойдёт. А в целом и впрямь он философ, вон ещё когда сформулировал: «Русский идеал — не свобода, а правда»! Западные умники этого до сих пор понять не могут. И наши либералы.

Очень неожиданным показалось признание в дневнике: я, записал он, по роду дарования не литератор, а живописец, как они не могу сочинять — писать не с натуры, а из головы, и если дерево стояло слева, то не могу написать, что оно стоит справа... А ведь и я, и я, пожалуй, так же! Выходит, напрасно боюсь, что обделён даром фантазирования — Пришвин и без него каких добился высот!

А что касается жанра лирической миниатюры, то его, оказалось, не он и придумал. Узаконил этот жанр в русской литературе Василий Розанов, он свои заметки так и назвал — «Падение листа»: дескать, мысли созревают и опадают, как... Пришвин лишь окончательно утвердил эту литературную форму, дав заметкам своё определение — «лесные капли». И тоже любопытная деталь: философ и писатель В. В. Розанов в молодости был учителем мальчишки Пришвина в елецкой гимназии. А жанр — что ж, любая литературная форма есть понятие многообразного пользования, это не заимствование, а нормальное явление в творчестве. «Похоже» или «не похоже» — например, на Пришвина, — зависит не от формы, а от личности автора. Вот и слава Богу.

Удивила одна запись в пришевском дневнике: сказать по совести, признался он себе, я своего настоящего читателя ещё не видел — всё это лишь школьники да обманутые моими охотничьими рассказами взрослые. Вот те на! По обоим определениям я тоже относился к читателям ненастоящим. Автор хоть и любимый, но чувствовать себя обманутым им и «ненастоящим» — как-то оно... не совсем. Однако это не мешало мне яростно защищать его творчество от непонимающих и принципиально не принимавших. А таких, к моему удивлению, оказалось немало.

Брат же мне как-то и сказал: вот ты восхищаешься своим Пришвиным («своим»... сам же подарил!), а в народе рассказы Паустовского более популярны. Меня такое мнение даже обидело: как можно сравнивать сентиментальные новеллы, увлечение Паустовского красотами стиля и подлинную высокую поэзию? Брат возражал: у Пришвина поэзия? Так её всегда в народе читали меньше, чем занимательные рассказы. На этот довод возразить было нечего, однако я оставался при своём мнении.

Гораздо сильнее задело высказывание о «певце русской природы» почтенного и честнейшего литератора (в молодости тоже охотника,

а позже автора многих прекрасных книг о родной природе) Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Его слова передал мне мой товарищ и сверстник, который в молодые годы близко общался с Иваном Сергеевичем, — так сказать, из уст в уста. Человек деликатный и знавший моё равнодушие к Пришвину, этот товарищ, смущаясь, поведал, что старик Соколов-Микитов называл Пришвина «самовлюблённым нарциссом», который людей вообще не любил. Никого не любил, кроме себя. И уж какой такой он охотник? Бекасов стрелял да зайчишек — подумаешь! На глухарином току даже ни разу не был.

Когда я услышал о таком отзыве, то просто расстроился. Оснований не верить добрейшему Соколову-Микитову не было, как и у того — причин возводить напраслину. Образ чистого поэта в моих глазах — как случается, когда подышат живым теплом на ясное стёклышко, — чуть затуманился сомнением, юношеская восторженность стала развеиваться, в голову полезли грустные мысли.

Но тут подошёл пришвинский столетний юбилей. Появились книги о нём, много статей в толстых журналах и газетах. Все авторы в одну дуду старались убедить, что М. Пришвин — не какой-то там певец природы, а крупный, значительный творец таких замечательных явлений в нашей литературе, как романы и повести «Кашеева цепь», «Осударева дорога», «Повесть нашего времени». Я подумал: критики и литературоведы, профессионалы, тоже прочитали заметку в дневнике о ненастоящих и обманутых читателях и относить себя к таковым не захотели... А любимый автор стал на глазах бронзоветь. Договорились до того, что его лирическая проза о природе — вообще пустяки, побочный продукт сложного литературного процесса. Он, дескать, эти свои «капли» даже и не сочинял — просто брал кусками из дневников. А вдумчиво и долго, всю жизнь, работал именно над крупной прозой.

Одной из самых интересных работ о его жизни и творчестве мне тогда показалась книга (я случайно купил её в Севастополе) вдовы писателя Валерии Дмитриевны Пришвиной. В ней речь шла о последнем периоде его жизни, связанном с их дачей в подмосковном селе Дунино. Прочитав эту книжку, я в первый же приезд в столицу, в выходной, отправился в Дунино. От Москвы семьдесят километров на электричке до Звенигорода, со станции на автобусе в санаторий «Поречье» на берегу Москва-реки, а там по просёлку через лесок — рядом.

На усадьбу мы пришли вчетвером: семейная пара из Севастополя (в том же магазине купили книгу «Наш дом»), парень в яркой петухастой рубаше из Петровска-Забайкальского и я. Со мной всё ясно, а остальные трое, очевидно, свидетельствовали о простодушной народной любви к писателю, те самые его читатели, которых он не встретил при жизни. Валерия Дмитриевна рассказала нам, что был Михаил Михайлович невысокого роста крепышом с курчавой смоляной цыганской бородой. Между прочим, в юности увлекался игрой на мандолине (надо же, и я!). До старости был неутомимым ходяком,

а руки имел слабые. Любимое ружьё — двадцать четвёртого калибра (несерьёзно для порядочной охоты, но не исключено, что это лишь в конце жизни, стариковское). Валерия Дмитриевна-то, надо заметить, и сошлась с Пришвиным, когда тому было уже за шестьдесят, и чувствовалось, что вся предыдущая биография писателя казалась ей лишь подготовительным периодом к их дунинской совместной жизни.

Но самым интересным мне было узнать, как он писал. Вставал на рассвете и прежде всего переносил в дневник заметки вчерашнего дня, это было для него как утренняя молитва. Затем гулял по тропинке вдоль (внутри) забора своего участка, садился на специально устроенный пенёк и заносил утренние впечатления в записную книжечку. Завершив обязательный утренний ритуал, отправлялся пить чай. И лишь после этого брался за работу над очередной книгой. Получалось, что всю жизнь свои главные силы он тратил на дневник.

И какое решающее влияние оказал на всё творчество этот, казалось бы, чисто технический момент! Влияние, которое он сам понимал. В дневник попадали впечатления «первого глаза», стихия непосредственных, интуитивных душевных отзвучиваний и непричисанных первичных мыслей «для себя». А над литературными текстами шла *работа* для всех, верх брали опыт, знания, зрелые рассуждения о жизни. На одном и том же писательском столе рождалась «настоящая» проза для печати и заметки для души, как само вылилось на бумагу.

Эту свою двойственность он сам осознавал. Личность писателя М. Пришвина состояла из двух творцов — поэта и умника, они постоянно боролись друг с другом, верх брал то один, то другой. Сам себя он, безусловно, считал серьёзным, маститым писателем, главным назначением своей жизни — создание крупных литературных произведений с общечеловеческим содержанием, много лет потратил на большой автобиографический роман «Кашеева цепь», как раз в Дунине написал книги «Осударева дорога» и «Корабельная чаша». Но вот вопрос: многие ли даже из тех, кто любит этого автора, их читали? По правде надо ответить: увы...

Я-то читал. И, положив руку на сердце, должен признаться: показалось скучновато, многословно и не всегда понятно. Более того, кое-что вызвало откровенное недоумение. Написать о строительстве знаменитого Беломорканала и... ухитриться не заметить там эков — как это?! Даже в официальных изданиях не скрывали: канал строят заключённые, они проходят там трудовое перевоспитание. А он ГУЛАГа-то и не приметил.

Но я всё-таки понял, глубинно постиг: не было в этом действительно странном изображении реалий жизни ни трусливого приспособленчества, ни соцреалистического стремления к приукрашиванию действительности. Пришвин вообще и всегда сторонился политики в творчестве, темой романа был вовсе не Беломорканал! Автор писал о судьбе своего главного персонажа — мальчишки, о его бунте во имя

личной свободы, то есть писал он, как всегда, о себе (но и общем для всех периоде отроческого становления личности). А как же Беломорканал?! Проклятая стройка попала в роман случайно. Именно по причине сугубо творческих особенностей авторского метода. Просто потому, что Пришвину эти места были знакомы ещё по дореволюционному путешествию. Литератор, сам признававшийся, что по дарованию он больше живописец, не способный изображать без конкретной природы перед глазами, использовал в качестве этюдов старые впечатления, только и всего. А пока этюды лежали в папках, в пейзаж вторглись люди и уж очень заметно его изменили. Творческая технология сыграла с автором презлую шутку. Я убеждён: именно так оно и случилось. Однако все подобные объяснения в глазах любого читателя будут выглядеть неубедительно, восприниматься просто чудовищной ошибкой и вызывать естественный вопрос: «Допустим, ты объяснил, а сам-то он неужели ничего этого не понимал? Невозможно поверить...» Не исключено, он рассчитывал, что ему, как признанному «певцу природы», некоторые отступления от злобы дня простят.

Не простили — при жизни автора его последние романы так и не были опубликованы, увидели свет только после его смерти. Но славы и любви у массового читателя ему точно не прибавили. Зато...

Умный, мудрый был человек Михаил Михайлович, знал прекрасно свои слабости и сильные стороны. В 1940 году взял и набрал из дневников отдельных записей о природе, почти совершенно их не обрабатывая, — пусть идут, какими появились на свет, голенькими-новорождёнными. Только что расположил заметки по временам года. Работа была лёгкая и отрадная. И появилась знаменитая пришивинская «Лесная капель», одна из популярнейших и мною самых любимых его книг. Одна из тех, по которым все знают Пришвина. Настоящих романов и повестей в литературе сотни и тысячи, а его «Лесная капель» одна на весь свет.

«...А с кем дружил Михаил Михайлович?» — спросил я хозяйку музея-усадьбы. «До войны он всё путешествовал, переезжал с места на место. А здесь иногда общались с Вячеславом Ивановым, Константином Фединым, Паустовским, скульптором Конёнковым. Но близкой дружбы не получалось. К тому же он не пил вина», — Валерия Дмитриевна отвечала задумчиво, неторопливо. По поводу последнего замечания я для себя отметил: о, в таком случае с дружбой вообще было туго! «В начале пятидесятых они часто встречались с опальным академиком П. Л. Капицей, дача которого располагалась неподалёку. Но настоящих друзей не было, это составляло одну из драматических сторон его жизни».

Всё, что я в той поездке видел, слышал и узнавал, обязательно само собой вызывало вопросы и ответы: «А я?.. Да, надо и мне так же... Правильно, просто гениально он заметил: „Поэзия — предощущение мысли“! Значит, хочешь больше поэзии — пиши... пока

самому не всё ясно, пока мысль не отвердела. Да-да, химия умственного анализа поэзию разъедает. Вот теперь я окончательно понял и Пушкина, почему он проронил: „А поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой“. Это не шутка, а урок мне».

Или взять глубину осмысления — только она и делает вещи классикой. Вот детский пришевский рассказик «Дедушкин валенок». События как такового в нём нет, нельзя же считать происшествием, что дед выбросил на пустырь старый изношенный валенок, а птицы и зверушки растащили его по шерстинке на устройство своих гнёзд и нор. А какая мысль (о бесконечности жизни в природе), а как сдобрено юморком! Да, чтобы сочинить такой *детский* рассказик, за ним должен стоять весь Пришвин, добрый мудрец и философ. Гм, кто-то сказал, что вся русская литература вышла из «Шинели» Гоголя,— тогда, выходит, я произошёл из старого валенка дедушки Пришвина? Да и пусть!

Рассказала Валерия Дмитриевна и о том, что готовит новое, более полное собрание сочинений, в котором старается представить Пришвина именно как подлинного классика, писателя и мыслителя общечеловеческого масштаба, а не только автора детских книжек и популярных изданий о природе.

Распрощавшись с хозяйкой усадьбы и попутчиками, я специально остался один, чтобы погулять по окрестностям, собственными глазами увидеть и почувствовать мир Пришвина не из его книг, а вживую увидеть ту самую природу, которую он так вдохновенно воспел, которая питала его чудесную лирику. Побродил по берегу Москва-реки, перешёл по колышущимся и хлюпающим под ногами деревянным мосткам на противоположную сторону, вернулся, углубился в соседний лесок... И где только он брал впечатления для своих стихотворений в прозе? Я бы тут ничего не написал — голо всё, не о чем и писать. Отвык я за десятилетия жизни в Сибири от вида таких рек, полей, лесов. Хотя сам когда-то вырос здесь же. Река какая-то странная, струится в стриженных под машинку берегах, среди картофельных полей, у нас Сибири таких раздетых рек и нет. Земля в поле — красноватая глина, непонятно, что на ней может вырасти. Лес — сыроватый и тёмный, хмурый. Другим стал мой мир... В общем, в эту поездку я увидел Пришвина вблизи, но со стороны, а сам как бы отпочковался, отошёл. Повзрослел.

Прошло довольно много лет, прежде чем вышло в свет то собрание сочинений, которое обещала вдова писателя. Главный интерес для меня представлял её вариант публикации в нём дневников. Читаю — и... всё определённое крепнет чувство сперва недоумения, затем разочарования. И наконец, просто досады — за омрачённые свои прежние представления. Что она натворила!

Любящая женщина, интеллектуалка и профессиональный литературовед по образованию, она решила исправить господствующее в широких читательских кругах мнение о Пришвине лишь как о певце

природы и авторе детском и представить его в истинном облике подлинного литературного классика. А средством достижения своей цели избрала иной подбор текстов для публикации. Дневники Пришвина — огромный материал, океан-праматерь, в котором вперемешку записывались ежеутренние впечатления: заметки о погоде, мысли об искусстве, о собственном творчестве, о текущей жизни в стране, оценки недавно прочитанного, заметки о поездках на охоту и работе собак, отклики на хвалебные и ругательные рецензии, — много-много всего разного, чем жил человек. Для первого собрания отбор делал он сам, его художественное чутьё и человеческая мудрость продиктовали один состав публикаций — скажем так, сбалансированный. А ей чутья и подлинной мудрости не хватило, то, что представила на суд всеобщий она, создавало совсем иное впечатление. Именно — разочарование.

О природе — почти ничего. Зато конденсат внутренней жизни, сугубо личные переживания. В том числе и довольно мелкие. Автор то и дело обижается на непонимание, на недостаток признания, демонстрирует заурядное уязвлённое тщеславие. Приводить подробности и цитировать мне совершенно не хочется, ограничусь формулировкой общего впечатления: «И это — добрый мудрец и философ?! Ничего себе...» Поневоле вспомнилась характеристика Соколова-Микитова: «Нарцисс, он людей не любил». Были, были, судя по преданным огласке интимным записям, основания у общавшихся с писателем знакомых для подобных суждений. Вот к чему приводит слепота фанатичной женской любви.

Читаю дальше и чувствую всё большее раздражение даже от заметок, казавшихся мне прежде мудрыми. «Искусство для искусства — такая же нелепость, как искусство для пользы». Глубокомысленно. Однако непонятно: а для чего же тогда вы, милостивый государь, пишете? Только для того, чтобы себя выразить? Философ... «Кончаю портить свои вещи для удовлетворения школьников...» То есть они, надо понимать, представляют слишком низкий уровень, недостойный таланта такого масштаба? М-да... Или утверждение: не я отображаю природу, а она лишь зеркало моей души, без которой вся природа — только скопление больших и малых вращающихся шаров. Сформулировано выразительно, однако позвольте: а как же остальные люди на Земле? Они-то существуют на этих шарах или хоть между ними? Для кого в таком случае вы всё это пишете?! Просто бормочете сам с собой в одиночестве космической пустыни?

И зачем только я всё это узнал?.. Вспомнились его же давно знакомые мне дневниковые строки-притча: вот, писал он, поёт в ночи соловей, и все наслаждаются волшебными звуками. А что даст людям, если они днём увидят эту невзрачную серую птичку? Я теперь отвечаю на тот его вопрос: ничего доброго не даст, почувствуешь только разочарование.

Но постепенно взбаламученная муть досады и расстройства в душе стала оседать, родник моих отношений к давнему своему автору осветлялся, всё больше приобретая прежнюю чистоту. Вернее, почти прежнюю — какой-то солоноватый привкус в водичке остался. Ну хорошо, вот я говорю школьникам при встречах: «Наша природа — это лицо матери-Родины. Можно ли быть к ней равнодушным?» А он считал её лишь зеркалом *своей* души. Так ведь он же художник — не обязан её объективно изучать и описывать, этим занимаются другие!

Чувствует себя центром мира, всего космоса? Но так воспринимают себя все поэты, таково их мироощущение, заложенное... не знаю кем, видимо, Богом. А Лермонтов: «Выхожу один я на дорогу...»? А Фет — тончайший лирик, а в быту барин, помещик и коннозаводчик? Обычное явление! Поэты, наверное, обречены на одиночество, чтобы, настрадавшись в нём, возопить с призывом к далёкому неведомому другу. Возопить в письменной форме. Или вот стали однажды нашёптывать Льву Николаевичу Толстому, что вся эта тёмная «достоевщина» — это ведь он о себе пишет. Знали шептуны о сложном отношении Толстого к Фёдору Михайловичу. А он ответил: «Но мы все только и делаем, что пишем о себе!» Важно лишь то, дескать, интересно это или нет другим. Короче, нормальный поэт Михал Михалыч, чего это я так на него осерчал?

Да, его природа — отражение *его* личности, *его* внутреннего мира. Но раз он пишет, а потом издаёт сотысячным тиражом, как можно говорить, что он замыкается и отгораживается от людей? Наоборот, приглашает всех: вот он, мой мир, войдите в него, люди, и полюбуйте вместе со мной! Что же тут предосудительного? То-то и заслужил всенародное признание.

Отражение его личности... Но ведь именно он ещё в сороковых годах первым стал говорить об *охране* природы! А ведь тогда главным лозунгом отношения к ней были слова Мичурина, что мы не можем ждать от неё милостей и должны взять их — умом, силой. Я этот лозунг помню прекрасно, он висел у нас в классе на стене. И тут приходит писатель и провозглашает: «Охранять природу — значит, охранять Родину!» Спасибо Вам, Михаил Михайлович.

И наконец, абсолютно несомненно, что Пришвин любил нашу Россию, любил искренне и преданно. И отменно, талантливо потрудился для её прославления в мире. «Любить Россию, быть русским, — записал в последний год жизни, — это духовное состояние». Гениальная формула. Что значат по сравнению с ней какие-то бытовые мелочи личного характера? Как говорится, один Бог без греха.

На могиле М. М. Пришвина стоит памятник работы Сергея Тимофеевича Конёнкова — «Птица Сири». Великий наш скульптор понял великого художника слова. Мне теперь кажется — я тоже понял. Надеюсь, на этот раз, пройдя сложный путь длиною в жизнь, — по-настоящему.

## Сергей Аринчин

\* \* \*

Осенняя слякоть,  
Трактир придорожный.  
Напьюсь — буду плакать  
О днях невозможных...

Грустят мои кони,  
Скрипят мои дроги.  
Не чёрт ли нас гонит  
По этой дороге?

Ямщина, ямщина —  
Мужицкое дело,  
Тайга да равнины,  
Весь свет этот белый

Всосались тоскою  
От края до края...  
И нет мне покоя,  
Как грешнику рая.

А помню, как рвался  
Дорогу начать я,  
Меня не сдержали  
Ни сёстры, ни братья,

Меня не сдержали  
Любимой заклатья...  
За всё мне дорога  
Хоть плачет, но платит

Простором, и волей,  
И трепетом звёздным.  
Прости меня, поле,  
Но сеять мне поздно:

Ведь лучшие песни  
Дорогой слагаю...  
И нет мне покоя,  
Как грешнику рая.

\* \* \*

Как я услышал, что хлопнула дверь в твоём доме,  
Сидя за тысячу вёрст в Усть-Портовском бараке,  
Как ощутил, что тревога виски твои ломит,  
Глядя, как стихла пурга да играют собаки?

Как на пословицы ловится ум наш куриный,  
Как на любовь откликается сердце глухое?  
Мы перед Богом — единой души половины,  
Пламя одно, но несут его по свету двое.

Снежная пúстьнь, а слово в просторе безмолвном  
Рвётся к тебе над великой застывшей рекою  
И долетает, как в небо отпущенный голубь,  
Боль усмиряя, даря ощущение покоя.

## МАРИЯ

Черемши наелся до икоты —  
Больше было нечем закусить.  
С вермутом покончили мы счёты,  
Оставалось только водку пить.

Мы сидим вдвоём со странным другом  
В мастерской зачуханной его,  
Голова плывёт гончарным кругом:  
Слышу всё, не вижу ничего.

Говорил он, брызгая слюною,  
Как велик он в горестных трудах,  
Как сейчас покажет мне такое,  
Что взойдёт нетленное в веках,

Что его ещё поставят рядом  
С Босхом, Гойей, Врубелем, Дали...  
Я хотел сказать, что врать не надо,  
Но не стал и по глотку налил.

Но когда совсем осточертела  
Мне его пустая болтовня,  
Красота неведомых пределов  
Вдруг с холста взглянула на меня.

От неё не по себе мне стало,  
Как во сне — ни крикнуть, ни сказать:  
Лишь лицо сияющим овалом  
Да на нём печальные глаза.

Как же Ты, пресветлая Мария,  
Забрела неведомо куда,  
Где в распадках кедры вековые,  
Где на реках взгорбилась вода?

Неужели кореш мой случайный,  
Что кривлялся с пеною у рта,  
Лик Твой разгадал, и взгляд Твой тайный  
Осветил угрюмые места?

Неужели над водой и твердью  
Он Тебя провёл, как поводырь?  
К Твоему взывает милосердью  
Богом позабытая Сибирь.

Похотью реакторов и топок,  
Жлобством пристяжных временщиков  
Сыты мы по горло, в горле копоть,  
Так спаси, Мария, дураков.

Может быть, Тебе виднее свыше  
И Тюмень, и устье Колымы,  
Весь тот край, откуда все мы вышли,  
Так скажи: зачем на свете мы?

Ночь в окне, и льётся мрак бесшумный,  
Спит художник мирно, как святой.  
Успокой, Мария, неразумных,  
Пусть они умолкнут пред Тобой,

Пусть по справедливости отметит  
Взгляд Твой и трудяг, и подлецов,  
Пусть не проклянут нас наши дети,  
Как и мы не прокляли отцов.

От стыда вином не откупиться,  
На чужом пиру не отдохнуть.  
Посмотри, Мария, в наши лица,  
Дай нам знать: туда ли держим путь?

Всё должно когда-то повториться,  
Вновь придёт Твой первенец на свет.  
Посмотри, Мария, в наши лица:  
Есть за нами правда или нет?

\* \* \*

Любых болезней долгую нудьбу  
Перенести с упорством я пытаюсь,  
Но есть одна незримая и злая,  
Которую осилить не могу.

Когда тебя со мною рядом нет,  
Мир из-под ног мучительно уходит,  
Потеря затмевает белый свет  
И разбивает искренность мелодий.

Когда тебя со мною рядом нет,  
Груз одиночества на сердце страхом давит.  
Одна молитва голос мой направит,  
Но я слабею, как от многих бед.

Любых болезней вынесу я груз.  
Один остаться без тебя боюсь!

## БЕССОННИЦА

ПАВЛА ВАСИЛЬЕВА

Наталья, молись за меня!  
Доносы уже зазмеились,  
Как быстро друзья изменились,  
Но ты помолись за меня.

Я чувствую: день ото дня  
Становится путь мой короче,  
Заявятся вóроны ночью,  
Так ты помолись за меня.

Я горькое время кляню,  
Себя, дурака, не жалея,  
Ведь лагерной травли страшнее —  
Тебя оставлять мне одну.

Рассудок молчит, только страх  
Всё время кудахчет одно мне:  
Никто никогда, мол, не вспомнит,  
Как сгинешь ты в тех лагерях.

Я ночь эту глаз не сомкну,  
И верю я,— слышишь, Наталья?—  
Не в страхе уйду, а в печали,  
Тебя оставляя одну.

\* \* \*

Чем ты жила, молчальница-душа,  
Пока я здесь томился, неприкаян,  
Пока я здесь туманами дышал,  
Вниз по распадку к берегу спускаясь?

Вниз по ручью к невидимой реке  
Путившись в путь тропой почти забытой,  
Совсем один, без слёз и налегке.  
Чем ты жила, пока я жил молитвой?

Не Божий храм — пустой холодный дом,  
Но есть и в нём бумажная икона...  
Чем ты жила, пока я жил с трудом  
Чужим уставом, по чужим законам?

Я наберу воды из родника,  
Печь затоплю, полóк помою в бане,  
На берег выйду: в низких облаках  
Закатный луч, и скоро ночь настанет.

Здесь на камнях след следа твоего,  
Пусть снег, растаяв, просочится в землю.  
Возьми хоть малость, каплю из того,  
Чем жил я здесь. Прими — молю и внемлю.

Душа-молчальница, так чем же ты жила,  
Пока я ждал весеннего тепла?

\* \* \*

Дорога ровная скучна —  
Вот так и жизнь. Не потому ли  
Иной спешит шагнуть под пули,  
Хоть высока за риск цена?

Взахлёб вершили свой набег  
Сибирских рек первопроходцы.  
Но как нечасто удаётся  
Нам взбаламутить сонный век.

Судьба, как правило, слепа,  
И метит нас не по заслугам,  
И поднимает вечным плугом  
Из тьмы на солнце невпопад.

Но если путь свой выбирать  
По знаку звёзд со дна колодца,  
Сибирских рек первопроходцы,  
Я б напросился в вашу рать.

И смерть я мыслю лишь одну —  
Под ледостав, на кочах русских,  
Поток Подкаменной Тунгуски,  
Где я, не выплыв, утону.

Сергей Задереев

## Рассказы

## Иволга

*Иволга — небольшая яркая птица. Обычно держится в кроне деревьев. У самки зеленовато-жёлтый верх и белёсый низ с тёмными продольными пестринами. Крылья зеленовато-серые. Очень подвижная, бесцумно перепрыгивает с ветки на ветку в густой листве деревьев. Полёт быстрый и волнообразный. Издалека слышен низкий мелодичный свист птицы, напоминающий звуки флейты. Несмотря на броское оперение, птицу зачастую трудно увидеть с земли. Русское название «иволга» имеет славянские корни и является однокоренным со словами «волга» и «влага». Полагают, что в древности птицу представляли как предвестницу дождя.*

А ведь было, всё было, но иссохло и облупилось, торчат какие-то жалкие будбля. Пыль на всём, но не от ветра и времени, а от истощения, пыль, которая растёт сама по себе. Ни рта, ни рук, ни ног, но она живая, безжалостно наползает, тварь тварью, на всё, даже на него, если подолгу сидит в кресле. Она опутывает пальцы, пытается заткнуть глаза и при этом ещё шепчет: усни, угомонись.

Он знает: это знак скорого конца, — он даже слышит нетерпеливое постукивание, какие-то шевеления, с которыми его там ждут.

Но нет, братцы, нет, порох ещё не весь сгорел. Хоть и одним глазом мишень отыщу. Сгибает одну ногу, вторую, как не живые части тела, а нелепые рычаги, только что не скрипят, но усилий с каждым днём требуют всё больше. Жизнь уходит по капле, и он не сопротивляется, знает: это бесполезно. То, что осталось хотя бы в душе, надо сберечь, это на последний выстрел.

Юная, сияющая от восторга, словно ждала его, ждала — и вот она распахнула дверь без оглядки, на всю ширину.

— Входите! — улыбка полураскрыла рот, остальные слова застыли на губах.

— Я, видите ли...

— Знаю, всё знаю. Входите, присаживайтесь.

Она непринуждённо взмахнула рукой, халатик прираскрылся, и он вздрогнул. Он уже видел это — и эти колени, как перламутровые чашечки раковин, и тёплую мякоть бедра, от запаха которого он сходил с ума. Она скрылась в другой комнате, а он, сидя за столом, мучительно перелистывал страницу за страницей. Это было, конечно,

это было, не вчера и не год назад, может, в юности, а может, вообще в другой его жизни. Но запах, но аромат, который сразу накрыл его, как только она открыла дверь,— его ведь ни с чем не спутаешь...

В нём переплелись, но не перебивая друг друга, можжевельник и жасмин, острота и нежность, и ещё тот тёплый, как вдруг брызнувшее молоко, маслянисто-влажный запах, который издают самки, чтобы привлечь любимого.

Она вернулась уже в футболке и джинсах, полуразвалилась в кресле, и всё та же улыбка, открытая, откровенная, словно ждущая поцелуя. — Вы знаете, последнее время я не нахожу себе покоя. Навалилась бессонница, стала какая-то дёрганая. Могу ни за что ни про что человека обидеть,— безмятежность ушла с лица, открылись чуть заметные морщины.— Вначале умер папа, а год назад — мама. Дети поразъехались. Может, это и стало причиной?

Она смотрела на меня как на домашнего доктора, которому доверяют всё без утайки. Но по глазам, вдруг распахнувшимся, было видно, что и ответа она ждёт такого же искреннего и простого. Ждёт, конечно, не таблеток, а сочувствия и внимания.

Но я-то пришёл не за этим, а она явно ждала психотерапевта. Недавно я принял решение продать квартиру, одному четыре комнаты ни к чему, и купить «однушку». Меньше хлопот с уборкой, да и уютней как-то будет, а то брожу, как неприкаянный бедуин, из комнаты в комнату, можно даже сказать, слоняюсь, пытаюсь найти хоть какое-то бестолковое занятие.

И вот я дал объявление о продаже своих апартаментов, и когда звонок поступил, отправился по названному адресу. Но надо же такому случиться: пришёл к одинокой, мятущейся женщине, которая ждала никак не меня. Объяснить ошибку, извиниться и просто уйти не смог. Она ведь ждала хоть какой-то помощи, может, простого соучастия, доброго слова, а хлопнуть дверью — не по-человечески как-то.

— Извините, а зовут вас как?

— Иволга,— и опять та же невыразимая в своей прелести улыбка вернулась на её лицо.

— Милая Иволга,— я невольно начал играть роль доктора,— у меня сейчас похожая ситуация. И хотя я понимаю причины бессонницы и раздражительности, ничего с этим поделать не могу. Надо смириться, что ли. Может, передохнуть. Само пройдёт. Устаканится, как говорят. — Простите, а ваше имя-отчество?

Она ведь вызывала меня, всё более входя в роль, подумал я, должна бы знать, хотя, наверное, от волнения забыла.

— Сергей Петрович, так вы тоже один?

— Да. Так получилось.

— А давайте я вам поставлю чай. Или, может, кофе?

— Чай, но только если вместе.

— Ну конечно. Чёрный или зелёный?

— На ваше усмотрение.

— Тогда зелёный с жасмином.

Она угадала, именно такой и пью последнее время. Странно, но мы как-то моментально сблизились. Болтали о чём угодно, но только не о её проблемах. Нам было легко, будто знакомы не первый день. Она работала искусствоведом в художественном музее, и я узнал о новых интересных выставках, о каких-то гениальных, но не признанных художниках, даже об их чудаковатом директоре. Мне, конечно, приходилось сложнее, ведь надо было казаться доктором.

Когда я уходил, она вдруг взяла меня за руку.

— А когда я вас опять увижу?— лёгкая тень пробежала по лицу, она склонила голову, невольно пряча потускневший взгляд.— Вы ведь ещё придёте?

— Да, конечно. А когда вам лучше?

— Хоть завтра,— она вскинула голову, и опять улыбка осветила её лицо.

И уже тогда не знаю почему, но мне вдруг захотелось обхватить её, прижаться, вдохнуть этот колдовской запах. Наверное, доктор нужен не ей, а мне.

На следующий день с трудом сдержался и не пошёл к Иволге. Это будет неприлично для доктора. Вечером квартира мне показалась совсем безразмерной, ходил по ней будто впервые, натываясь на стол, стулья, непритворённые двери. Сам не зная что искал, высматривал, иногда в зеркалах, как бы мелькнувшим, видел её лицо, не грудь, не ноги, не причёску,— её лицо не оставляло меня. Вроде и ничего особенного в нём. Но тайный внутренний свет, исходивший из него, притягивал, манил, но не звал. Как бы похихикивая, говорил: «Ну попробуй, попробуй»,— а что попробуй — неведомо. Эта загадка, наверное, и влекла меня.

Через день я отправился к своей подопечной. Иволга... Странное какое-то имя. Почему Иволга?... Так до сих пор для меня это и остаётся загадкой.

— А почему вы вчера не пришли?— она встретила всё той же беспечно откровенной улыбкой.— Я ждала.

Иволга была одета в яркое кимоно, под которым, мне казалось, ничего не было, а может, мне просто хотелось этого. Она и правда в этом шёлковом летучем наряде походила на птицу. Интересно, совпадение это или мне только кажется? Вот упорхни она сейчас на дерево — и даже ветка бы не колыхнулась.

Уселись мы, как и в первую встречу, она свободно, с кошачьей грацией в кресло, я скованно, будто остерегаясь, на стул.

— Ну что, Иволга, давайте начнём. За прошедшие сутки вы кого-нибудь обидели или вас что-то раздражало? Только не стесняйтесь. Вспоминайте любые мелочи.

Женщина насупилась, как бы возвращаясь во вчера, но я-то видел, она не хочет этого, на лице читалось совсем другое.

— Вы знаете, Ивану Николаевичу, это наш директор, я вам рассказывала о нём, сделала комплимент, а он обиделся. Показалось, даже матюгнулся про себя.

— И какой был комплимент?

— Ничего особенного. Это вырвалось как-то само собой. Я немного опоздала, а он, наверное, хотел сделать замечание. Но я взяла и опередила его. Иван Николаевич, говорю, вы сегодня такой красивый, поцеловать хочется. А он махнул рукой и хлопнул дверью кабинета. Но в этом же ничего особенного, просто захотелось сделать человеку приятное. Так ведь, доктор?

— Я думаю, да. А вечером бессонница не доставала?

— Вечером вообще было забавно. Вдруг ни с того ни с сего вынула из шкафа все наряды и перемеряла перед зеркалом. В некоторых, о них уже и забыла давно, так смешно выглядела. Вы бы видели. Там сарафанчик один, лет двадцать назад зажигала в нём, так вот захотелось в нём встретить вас. Стукнула себя по лбу: вот дура старая.

— Какая же вы старая? Вы очень молодо выглядите.

— Спасибо, доктор, вы не умеете делать комплименты. Я старая.

— Иволга,— первый раз произнёс её имя и заметил: насупленность от моего комплимента ушла, а оттого, что она услышала своё имя, между нами появилась лёгкая, почти незаметная близость.

— Иволга,— ещё раз сказал,— вы очень приятная, умная женщина. Вы сами нагородили вокруг себя каких-то несущественных проблем. Попробуйте чем-то совершенно для вас новым отвлечься, какое-нибудь хобби, да влюбитесь, в конце концов. Вы же красивая, на вас наверняка обращают внимание.

— О-го-го, доктор. Ну и советы у вас. Пора любви прошла. Знаете, как в народе говорят, грубовато, но точно: завяли помидоры.

Она откинулась в кресле, задумчиво смотрела вверх, но не в потолок, куда-то дальше и выше. Наверное, туда, где и была когда-то её хмельная любовь.

Потом мы опять пили чай с жасмином. На столе была вазочка с клубничным вареньем, над которым зудела невесть откуда взявшаяся пчела. Было как никогда уютно, уходить не хотелось, но повода задержаться придумать не мог.

Уже у порога, резко, как выдох после выныривания с большой глубины, она сказала:

— Доктор, вы не смогли бы меня обнять? Я не помню, когда меня обнимал мужчина...

Это было как удар по голове, но неожиданный, как из-за угла; что-то я всё-таки предчувствовал, но чтобы так вот сразу... Осторожно, будто хрупкое, истосковавшееся по влаге деревце, я приобнял её, почти теряя рассудок, боясь себя не контролировать. И опять этот

запах жасмина и можжевельника мощной, уже неукротимой волной прибоа накрыл, и я, боясь за себя, почти оттолкнул её.

— Извините, мне надо идти. Меня ещё ждут,— солгал, нет, скорее струсил я.

Она посмотрела не разочарованно, не обиженно, а как-то удручённо-устало, и этот болезненный взгляд разъединил нас. «Всё,— сказал сам себе.— Хватит продолжать нелепую игру».

Колдунья, сучка, бормотал про себя, спотыкаясь по квартире. Подолгу смотрел в ночное окно, словно хотел увидеть её в желтушном свете фонаря. Покупал водку и коньяк, но Она не уходила и не приходила, а только мерещилась, мнилась, особенно пьяному; заглядывал, как идиот, в ванную, вдруг вскакивал и с криком: «Иволга!» — обегал все комнаты. Через неделю, издёрганный, подобно наркоману, побрёл по известному адресу. Было темно, спотыкался, но невидимый поводок в чьей-то твёрдой руке вёл безошибочно.

Дверь открылась не сразу, даже вздохнул облегчённо. Старый придурок, куда ты припёрся? Кому ты здесь нужен? Но вдруг раздался её голос, устало-равнодушный:

— Кто там? Вам кто-то нужен?

— Это я, доктор.

Только пинком так можно отворить, дверь не открылась, её словно вышибли.

— Ну, пойдём, что ли, доктор,— почти задыхаясь, сказала она.

Кровать в спальне была небрежно застелена. Иволга остановилась рядом, не выпуская моей руки, стала быстро, лихорадочно скидывать с себя одежду. Потом, будто опомнившись, то же самое делала со мной, и через какое-то мгновение мы просто рухнули на пол.

Это было как затмение. Нет, солнце вообще рухнуло, звёзды осыпались, налетевший шквал сломал, нарушил весь порядок вещей. Да и мы с Иволгой так перепутались, что уже было не понять, где её, а где мои руки и ноги. Какой-то хаос плотской дикой любви. Она кричала, как степная лисица, скрипела в ярости зубами, словно львица над поверженной жертвой.

А потом был чай с жасмином. Мы сидели у стола голые и беззлобно подшучивали друг над другом.

— Ты посмотри, какая у тебя загогулина, как крючок,— она широко раскрыла глаза, словно делала открытие.— Конечно, это крючок — ловить таких маленьких рыбок, как я.

— Ты не рыбка, ты птичка. Иволга, посмотри на себя в зеркало. Я тебя в силки поймаю, отереблю и брошу в кастрюлю.

— А потом?

— Потом съем. Всю. Даже косточки пережую, они такие сладенькие. Ты вся должна быть во мне.

— Фу, маньяк какой-то.

— Я доктор.

— Тогда полечи ещё.

Потом мы встречались не раз и не два. Её запах так меня разворошил (это были не какие-то диковинные духи, это был родной, природный аромат её тела), что я с приключениями, но нашёл магазин индийской парфюмерии и купил флаконы с концентратом можжевельника и жасмина, сандала и самых терпких роз. Мы попробовали, и нам понравилось это. Я заливал ей в пупок, допустим, розмарин, а она мне — дикий шиповник. Мы скользили друг по другу, дурели от маслянистых ароматов, смеялись, как дети, пытаясь выбраться из объятий, но не получалось, потому что не хотелось. Иногда подолгу изучал её тело, хотелось понять и проникнуть во все самые тайные места. Целовал, едва касаясь губами, её тёплые, нежные, как у младенца, словно из неземного фарфора пятки, точенные самым искусным мастером в мире, щиколотки, а внутренняя часть бёдер — это было просто сумасшествие. Её гладко выбритое лоно, кажется, там и кустика растительности никогда не было, меня возбуждало, как бандерилья быка на корриде. Снова и снова набрасывался на неё, а она, покорная и невесомая в этот момент, как бабочка, обнимала меня крыльями рук, потом вдруг впивалась губами в мои, лицо её светилось, нет, оно мерцало, словно неопознанный летающий объект. — Ты моё НЛО. Я тебя уже никуда и никогда не отпущу.

— А ты мой доктор. Доктор всех времён и народов.

И всегда в минуты близости неведомо откуда приходила музыка, робкая, чтобы не нарушить нашего единения. Она не подглядывала, она любовалась нами. Инструментов, издающих её, я не мог представить, да, наверное, их ещё и не создал никто. Это была музыка чего-то потустороннего, космоса, небесных сфер, а может, и самого Бога. Первый раз её робкое дыхание услышал, когда Иволга попросила её обнять. Теперь же она звучала во всей полноте, и, казалось, у неё нет начала и она никогда не закончится.

— Иволга, ты слышишь? — я приподнялся над ней.

«Да», — отвечала она одними глазами.

Каких безрассудных шуток мы только не придумывали! Понравилось попробовать свежую клубнику экзотическим способом. Самую спелую ягоду клал ей на заповедные губы и, не торопясь, чтобы не коснуться зубами влажного перламутра, одним языком растворял во рту душистую мякоть. Иволга в эти минуты мелко вздрагивала, а иногда вдруг шептала:

— Ну, укуси же меня. Не трусь. Я хочу.

А каков у неё язык! Это песня, это сказка, это отдельное неземное блюдо. Про него мечтать и рассказывать можно до изнеможения.

Каким-то неведомым мне образом она обращалась вдруг то в птицу, то в рыбу, она трепетала и извивалась, стремясь освободиться, вырваться. А может, наоборот, я просто не понимал, может, она хотела увлечь меня, увести туда, в прозрачную, как кристалл горного

хрустала, высь или же в аспидно-тёмную, убаюкивающую глубину покоя, туда, где я никогда не был и без неё мне этого не постичь.

Волшебница, королева, только Всевышний мог мне послать такое чудо.

Я понимал, что так бесконечно продолжаться не может, но больше всего пугала разница в возрасте, почти двадцать лет. Я и так уходящая натура, как говорил знакомый режиссёр. Ну, ещё год-два — и вообще можно на боковую. Расставание без надежды — всегда боль. У неё-то зарубцется, а каково будет мне? Сейчас думаю, боялся больше за себя, эгоист. Конечно, и её было жалко, но больше всё-таки себя. И я решился.

Дверь открыла сразу, не спрашивая, будто знала, кто это. В том же халате, как было в первый раз, только без улыбки, и настроенно смотрела.

— А почему так долго не приходил?

— Дела всё какие-то.хлопоты бестолковые.

— А у меня был психотерапевт. Он очень занят и только вчера смог выкроить время, — она показала рукой. На краю стола лежали коробочки с таблетками, флаконы с микстурой. — Вот. Он всё объяснил... Ну, ты всё равно приходи. Это же ты доктор.

— Иволга, я больше не приду. Так надо.

— А я знала. Я буду помнить тебя.

Квартиру он так и не продал, а все свои сбережения отдал знакомому художнику, чтобы написал её портрет. У него не было её фотографий, и он как мог, стараясь не упустить ничего, рассказал, как она выглядит, на кого похожа, всё до мельчайших деталей. Первый портрет совершенно не напоминал Иволгу, но он его забрал и повесил у себя в кабинете. И заказал следующий. Тогда он поведал художнику о запахах жасмина и можжевельника, но и этот оказался неудачей, он занял место в зале. Теперь в квартире, во всех её комнатах, на всех стенах были портреты женщин — прекрасных, неповторимых, разных. Грустных и весёлых, отрешённо-задумчивых и беспечных; может, соедини их в один — и получится Она...

Денег он оставил только на самое необходимое. Сигареты, чай, кофе и алкоголь. Раковина полна была грязной посуды, да и на столе чёрт ногу сломит. Пепельница больше походила на муравейник окурков, они вообще были везде, где только можно. Да и за собой он не следил, умывался и то раз в три-четыре дня, когда глаза утром уже не раскрывались, а надо было обойти портреты, поздороваться, может, и поговорить о чём-то. И только на журнальном столике была идеальная чистота. Он протирал его по нескольку раз в день, воюя с ненасытной пылью. В центре столика расположилась незатейливая хрустальная вазочка, а в ней два флакона, один — с жасминовым маслом, второй — с можжевелевым. Он никогда их не открывал, потому что во

всей квартире стоял (именно стоял, а не напоминал об этих растениях) такой плотный аромат, что можно было зажать его в горсти и носить с собой как спасительное снадобье или талисман от всех неудач.

Одно время он убирал флаконы в холодильник, чтобы запах не преследовал его, иногда даже не давал уснуть. Но понял: если и выбросит их в форточку, запах уже в нём самом. Он вспомнил слова бабушки: «Ты что как белены объелся?» Нет, бабушка, это не белена, только теперь я понял — это любовь. Я просто не знал, что она есть. Пусть только кто-нибудь мне скажет, что любви нет, что это всё инстинкт, природа, влечение полов к продлению рода. Господи, как вы убоги! Я её видел, слышал, чувствовал, вдыхал, она как всё это небо и звёзды, как океан и неумолкающие волны. Всё это мерцает, светится, шепчет, и вздыхает, и улыбается, и протягивает невидимую ладонь, и парит надо всем лепестком то ли радуги, то ли её причёски. Но налетает иногда ветер и так будоражит всё, что уже не понять: где же небо, где же море? Любовь — это всё!

Он откидывается в кресле и закрывает глаза. Он мучительно хочет объяснить: почему он тогда не сгрёб эти снадобья и не вышвырнул их в мусоропровод? Почему он безжалостно не завалил её в постель? Не осыпал поцелуями?

Просто струсил. Жалкий трус. Этим и погубил себя. А помог ли ты ей, лживый доктор?

Полуденное солнце с трудом пробило запылённое стекло окна. Дрожащий луч медленно пошёл по комнате, добрался до журнального столика и, остановившись на хрустальной вазочке, брызнул тысячами осколков.

## УБИЙЦА

*И первый человек греха не миновал,  
и последний не избудет.*

Русская народная пословица

Не знаю, почему такое происходит, как это объяснить, что во мне отличного от других, но давно заметил: сколько бы человек ни стояло, допустим, у крыльца магазина или на автобусной остановке, любой страждущий что-то узнать или попросить из этой группы, порой и толпы, безошибочно выбирает меня и подходит. Хотя, уверен, от среднестатистического горожанина я ничем не отличаюсь и не выделяюсь. Потёртые джинсы, футболка в пятнах от кофе, растоптанные, но зато удобные туфли. Ладно бы что-то там брендовое, из бутика, чтобы хоть как-то, хоть чуточку ото всех. Хотя позволить себе подобное могу, но нет желания мотаться по магазинам, тем более тратить время и нервы только лишь для того, чтобы чувствовать себя, как сейчас говорят, таким продвинутым мачо. Нет, у меня должно быть всё просто, без помех, незатейливо и естественно.

Сегодня денёк был какой-то серый, ни жарко, ни холодно, ни то ни сё, как и я, подобный и внешне мне, и моему настроению. Мозги были отключены; казалось, закрой глаза — и можно улечься на асфальт и задремать. Начхать, что рядом люди, безразличие во мне, вокруг и во всём, как серые клочья ваты, надёрганные из поношенной телогрейки. Не хотелось ничего, даже закуривать не стал, лень было доставать сигареты, а потом ещё зажигалкой щёлкать.

В этом забытьи, нет, скорее в отрешённости, как буддист-монах в астрале, был никем и ничем, ни личностью, ни физическим телом; думаю, воткни в меня иголку — не вздрогнул бы и боли не почувствовал.

Единственное, что отвлекало в это утро, — странное облачко, парившее над остановкой. Ни дымок, ни туман, цвет облачка был каким-то неопределённым, он постоянно менялся, словно играл и хотел привлечь этим. Да и форма облачка вызывала непонятные чувства: оно то походило на ласкового котёнка, то вдруг дико скалилось. Растерянно посмотрел на людей, но никто не обращал на облачко внимания. И вдруг из него выскользнула как бы искра, и был звук. — Извините, не подскажете, как проехать? — голос был глуховатотихий, почти шёпот.

Я вздрогнул: не померещилось ли?

Мужчина с портфелем в руках, среднего роста, одетый несколько щеголевато, не просто спрашивал меня, он как-то униженно склонил голову и даже чуть сгорбился.

— Я не расслышал: вам куда надо?

— Просто. Доехать.

Ответ был настолько нелеп, что я растерялся.

— Вам, может, на вокзал надо? — даже не знаю, почему так сказал.

— Возможно. Да, наверное.

Я не мог понять, то ли человек чем-то сильно расстроен, то ли вообще не в себе. Уже хотел сказать ему номер автобуса, но тут ещё один мужичок подошёл. Ну, этому-то, сразу видно, похмелиться не на что. Он смотрел нагло, не просяще, а с прищуром, заранее уверенный: не откажут.

— Херово мне, одолжи червонец, — оглянулся, как бы ища поддержки.

— Давай лечись, — протянул десятку, а недотёпа, которому непонятно куда надо, так и стоял рядом.

Вот же денёк выдался: все от меня чего-то хотят, столько людей вокруг, а они как сговорились.

— На вокзал семёрка идёт. Я тоже в ту сторону.

Так мы оказались в полупустом автобусе. Щёголь, я уже дал имя этому странному типу, нет-нет да и посматривал на меня, словно очень хотел, но не решался сказать, или знал о чём-то только ему ведомом, и надо было озвучить это. Первым не выдержал его взглядов я.

— И далеко путь держите, если не секрет?

— Если бы я знал, — щёголь обрадовался моему вопросу, лёгкая затравленность на его лице почти ушла. — Надо просто уехать, хоть куда, может, тогда забуду, успокоюсь. Не поверите, трое суток без сна. Так ведь и с ума сойти можно, — он первый раз улыбнулся нерешительно, застенчиво.

— Что-то случилось, да? Жена, наверное, ушла, — уже сейчас понимаю, насколько глупо было это сказать.

— Да нет. Она дома.

Говорить было не о чем, отвернулся и смотрел на проносящиеся такси, легковушки, истерично вопящие скорые. Вон бабуля какая-то лавирует, чудом выныривая из-под колёс, на противоположную сторону. Переход в каких-то ста метрах. И куда она так спешит? Внучек ненаглядный, может, приболел, или доченьку зять обидел, и она утешить кровиночку-неслуха хочет, а ведь сразу говорила ей: не выходи за этого уroda беспутного. Бешено засигналил кто-то бабуле, она кузнечиком взметнулась: откуда силы только берутся в таком возрасте? Да как откуда? Всем жить охота; вроде и устал, и исполнил всё намеченное, а свет небесный не отпускает: вдруг ты ещё на что-то сгодишься?

Выходить через три остановки, но спиной чувствовал взгляд щёголя. Словно несгибаемая бамбуковая трость, он упёрся в меня не только просяще и умоляюще, но даже и требовательно.

— Мне пора. Счастливой дороги, — с трудом смастерил на лице подобие прощальной напутственной улыбки.

— А мне торопиться некуда, — откровенно радостно сказал щёголь. — Пожалуй, тоже выйду.

Вот же прицепился! Я быстро вышел и почему-то повернул не в сторону своей конторы, а в совершенно противоположную. Будто катастрофично опаздываю, шагал решительно, хотя и непонятно куда, невольно прислушивался; сзади было тихо, но за мной, как кошка на мягких лапах, неуклонно тащился как бы невидимый страх, меня преследовало то, от чего уже не увернуться, понимаешь: это неизбежно, надо сдаваться, — но всё внутри противилось, и я оглянулся. Щёголь был в каких-то пяти шагах, он как бы парил за мной, и на лице его, когда увидел, что я заметил преследование, открылась по-детски наивная, по-дурацки бессмысленная улыбка. Да это просто идиот — как я сразу не понял?

— Что вам надо от меня? Чего вы тащитесь? Вокзала здесь нет, — грубо и резко, чтобы он почувствовал неуместность своего поведения, хотел крикнуть как отрезать, оторвать его от себя, но слова получились только хриплым выдохом.

— Извините. Мне надо с кем-то поговорить, — лицо его резко преобразилось, как бы потускнело, оно одинаково ждало как пощёчины, так и сочувствия.

— О чём поговорить?

— Просто выслушайте меня. Я же вижу, вы поймёте. От вас мне ничего не надо. Мне надо избавиться.

— От чего?

— Давайте присядем, — он кивнул на скамейку у рекламной тумбы.

Вспомнил, что давно хочу покурить, достал сигареты, протянул ему пачку.

— Спасибо, я не курю, — тем не менее он взял одну и держал в опущенной руке, не дожидаясь огонька.

— Слушаю вас, — как можно равнодушнее буркнул: может, теперь отвяжется?

— Вы когда-нибудь убивали человека? — теперь он строго смотрел мне в лицо, словно это я жалкий преступник, а он следователь, который уже всё знает и только ждёт подтверждения своим догадкам.

— В каком смысле убивали? Вы вообще о чём?

— Я не знаю, как начать. Это было давно. Больше трёх лет назад. Если бы знал тогда, чем это обернётся. Вы понимаете, я его не видел, я его не мог увидеть, но его лицо преследует меня вот уже который день. Он смотрит на меня иногда равнодушно, как на пустое место, лучше бы так было всегда, но ведь иногда обиженно, с глазами, полными слёз: мол, почему ты так, почему не кто-то другой? Ведь я тебя уже полюбил, и мне казалось, ты тоже меня обожаешь. Я так мечтал прижаться к тебе, вдохнуть такой родной, близкий мне запах. А ещё взгляд его бывает сердитым и злым, будто он уже знает, как и чем меня накажет, и в нём такая уверенность, что я знаю: не увернуться, это как топор, как пуля, как нож, как граната, чека которой выдернута, и он только ждёт сигнала, а мне ничего не исправить, я тоже жду. Вы знаете, какая жуть этот страх ожидания. Я ничего не могу делать. Из рук всё валится... У него необыкновенно красивое лицо. Я бы сказал — небесно-красивое. Если ангелы есть, то это лицо ангела. Белокурые шелковистые волосы, как нарождающийся нимб. Невозможно открытые чистые глаза. И всё лицо его светится, но не от внешнего, а от какого-то внутреннего мерцающего сияния. Кажется, вот сейчас он протянет ко мне руки, и всё плохое будет позади. Мне страшно. Зачем я его убил?..

— Извините, я не совсем понимаю. Верно, вы не конкретного человека убили? Вы убили свою мечту, то, чего уже не вернуть? Но это почти с каждым из нас было. Когда жизнь открывается, о чём мы только не задумываем, но действительность сурова и беспощадна. Она бьёт ключом, и всё по голове, — попытался свести на улыбку этой рядовой глупостью.

Щёголь попросил зажигалку, закурил. Я видел, мои слова пролетели мимо, они не обидели, не убедили, они, как скомканный клочок бумаги или облачко пыли, никому не нужные, промелькнули и исчезли — из пустоты в пустоту.

Щёголь отошёл к обочине, склонился и сорвал листок с незатейливого деревца.

— Видите, как легко я это сделал? Вот и тогда, давно, я поступил так же. А вы посмотрите, — он протянул мне крохотное создание. — Это же чудо! А как оно появилось, нам не дано знать. Может, птичка уронила семя, может, ветер принёс, добрый человек мог посадить... Да мало ли причин, по которым оно открылось солнцу и теперь радуется всем, ничего не прося взамен?.. Вы понимаете меня?

— В общем, да. Но не совсем.

— Мы были юными, в этом сейчас ищу себе оправдание. Квартиры у нас не было, и жили мы в заводской общаге. Но нам на всё было начхать. Мы спали на полу, вместо стола был пивной ящик, накрытый газетой. Мы захлёбывались в любви, мы купались в ней, как дети. Ни непогода, ни то, что иногда недоедали, — ничто нас не раздражало, не беспокоило, нам достаточно было смотреть друг другу в лицо, касаться друг друга. Даже слов не требовалось, это была какая-то вышняя гармония, дарованная щедрой природой, а может, Богом, уже сейчас думаю я. Нам нравилось есть из одной тарелки, пить из одной кружки. Нам не нужны были праздники, праздник переполнял нас и был во всём, что окружало. И в чистом небе, и в дождливой туче. Когда я обнимал её, казалось, весь мир в моих ладонях. Мог услышать шелест африканских пальм и потрескивание льдин в Антарктиде. Вы не поверите, но тогда я был самым великим, самым всемогущим, могучим, как Эверест, а она настолько прекрасной, что ни один художник не справился бы с её портретом. Для этого нужна была не просто гениальность, изобразить её мог только безумец, его кистью должны были владеть не мастерство и дар Всевышнего, а что-то запредельное, пришедшее из космоса, только его непостижимый мрак мог показать её свет... Таких чувств у меня уже никогда не будет. А может, это и хорошо. Сейчас бы я не справился. Лучше в омут, на костёр, в пропасть.

— Вы расстались? Вы потеряли её?

— Нет. Я же говорил вам. Она дома, — щёголь, но мне уже не хотелось так называть его, раскрыл портфель и достал фотографию. — Это она. Понимаю, вы подумаете: ну и что, женщина, не красавица, но и не урод. Миленькая. Да, миленькая, это для всех, но не для меня. Когда любишь, включается какой-то волшебный фонарь, и ты видишь недоступное другим. Её простенькое платье кажется нарядом королевы, да и сам ты готов ковром расстелиться к ногам её.

Абсолютно неожиданно, словно кто-то невидимый крадучись подогнал ветродуй, налетел вдруг такой порыв — он не только сорвал шляпу с головы щёголя, но и фотографию выхватил из его ладони, и они, как бы фокусничая и кувыркаясь, понеслись на проезжую часть дороги. Незнакомец, теперь так решил его называть, рванул следом. Слава Богу, подумал, наконец-то избавлюсь, неизвестно ещё какие проблемы от него придут, но мужчина после нескольких нелепых прыжков всё-таки схватил фотографию и, не обращая внимания

на шляпу, которая уже лежала на обочине и подрагивала на ветру, как продрогший щенок, с улыбкой победителя возвращался.

— Вот так получилось и тогда. Она со мной — и не со мной, — незнакомец опять протянул фотографию. — Если вы не жили в общешитии, вам этого не понять. Почти каждый вечер пьяные драки, из общей кухни мерзкая вонь, в туалет вообще не зайти. Почему-то за правило у некоторых было справлять нужду обязательно мимо унитаза, а может, это своего рода протест был. Только против чего? Или же, наоборот, если уж на дне мы, так давай до конца испытаем всю прелесть этого... Про душевую и рассказывать не буду, это чистилище перед спуском в ад. Ну, казалось бы, всё, засыпаем, и тогда, как из самосвала, грудой кирпичей и грязи в коридор высыпается отборный мат, женский визг, чёрт-те что непотребное. Первые недели мы этого почти не замечали, сила любви затмевала весь ужас. Но я понимал: надолго нас не хватит, — и начал копить деньги на квартиру, поначалу хотя бы снять в аренду. Но и месяца не прошло, буквально через три недели Нина (наконец я узнал хоть имя этой миловидной женщины с фото), почему-то утром, буквально за минуту до моего ухода на службу, мне казалось, что об этом надо сообщать вечером, чтобы не торопясь, разумно всё обсудить, — она, приобняв меня, прошептала: «У нас будет мальчик». — «Какой мальчик?» — не понял я. «Дурачок. Я не говорила тебе. Я уже месяц как беременна. Сегодня я видела его во сне. Ты не представляешь, какой он», — она закрыла глаза. А меня не то что оторопь взяла, мне вдруг стало страшно, как пред неведомой дверью, которую я не хочу открывать, ну не хочу, и всё. Да и ручки у неё не вижу: то ли пинком или головой, что ли, биться? «Нина, мне пора. Вернусь с работы — и поговорим». Она отстранилась, почти оттолкнула меня. Казалось бы, что в этом такого? Да, я проявил равнодушие, заслужил, но ушёл обиженным. Оказывается, она давно знала и молчала, а ведь до этого между нами не было тайн. Весь день у меня не выходило из головы сообщение Нины. Надо принимать какое-то решение, но в мыслях стояла глухая, беспросветная стена. И двери в ней уже не было, а стену было не перепрыгнуть и не обойти. До этого всё шло так складно — и вдруг ребёнок! Равновесие нарушилось, и винить в этом было некого. Да, надо сделать аборт, подумал вдруг я и вздрогнул от испуга от этого непривычного слова. Не знаю, откуда это пришло, как возникло, но я тем не менее вздохнул облегчённо. Ребёнок — это ведь не шутки, уже уверенно и как бы здраво думал. Надо подготовиться. Обязательно надо хорошо подготовиться. И с жильём, и вообще. Не в общагу же его приносить? Конечно, аборт, другого выхода просто нет. А потом у нас будет ребёнок, и мы будем счастливы.

— Извините, но меня ждут на работе, — я положил руку на плечо незнакомца, но он не посмотрел на меня, он вообще был где-то далеко,

взгляд его неморгающих глаз обращён был внутрь себя.— Извините, но я пойду,— опять дотронулся до него.

Незнакомец испуганно вздрогнул.

— Нет, нет, что вы! Вы не можете меня оставить. Мне кажется, вы поймёте. Я не знаю, что делать, что дальше! Ведь больше двух лет всё было нормально. Теперь-то понимаю: это мне так казалось. Прошло столько времени, и он вдруг пришёл. Зачем, что ему от меня надо?

— Всё понятно. Значит, супруга по вашему настоянию сделала аборт, и на этом любовь кончилась,— сухо и как можно равнодушнее произнёс, хотя сейчас понимаю: не стоило этого говорить,— но вразумить слонтя, уже новое имя ему дал, как-то надо было.— Сходите в церковь, исповедуйтесь. Бог, Он ведь всем помогает. Надеюсь, вы крещёный? — Да дослушайте вы меня! Я ведь не только мальчика убил. Я и маму собственную убил. Такого не отмолишь,— незнакомец встал со скамейки.

Господи, и почему я решил поначалу, что он щёголь? Жалкий недотёпа. Но незнакомец вдруг, словно опомнившись, резко отстранился и быстрым шагом двинул в сторону лесопарковой полосы, словно и не было этой странной нелепой исповеди.

Не наделал бы чего с собой, подумалось, вывалил на меня свои проблемы и решил смыться. Нет, нет, брат, так не пойдёт, ты учудишь чего-нибудь, а я потом корить себя буду.

Ещё не зная, что предпринять, о чём буду говорить, нагнал незнакомца и просто шёл рядом случайным попутчиком. Он не обращал на меня внимания, шаг его был настолько уверенным, словно он твёрдо знал свою цель. Мы миновали не только лесополосу, но и несколько кварталов. Шумный город немного отвлекал от дурных предчувствий, и я уже начал было попрекать себя за мнительность и излишнюю сентиментальность, как мужчина вдруг, будто обнаружил меня или страхнул навалившийся морок, резко остановился.

— Это вы? Опять вы,— сказал так, словно не он, а я чего-то добиваюсь. — Мне просто тревожно стало за вас. Вы что-то странное про мать говорили.

— Да это тоже случилось по моей вине. Я не говорил маме о беременности Нины. Надеялся сам всё решить. Вот и решил. Нина, конечно, с ней поделилась. Мама надумала разменять квартиру, чтобы нас устроить. А быстро это не получается. Я, как упёртый, настаивал на аборте, и Нина покорно согласилась. В день её операции мама умерла. Оторвался тромб... Вы это хотели от меня услышать? Мама не приходит ко мне во сне. Она приняла решение и исполнила его. Она спокойна, за ней никакой вины. Но неродившийся сын вдруг стал приходить ко мне каждую ночь. И он точно такой, как описывала Нина. Он похож на меня, я даже доставал из альбома свои детские фотографии. Там есть одна забавная: я, голенький, сижу на столе и, видимо, напугавшись фотографа, описался. А может, полированная

столешница была такой холодной. Так вот, на снимке не только розовощёкий пупсик, но и его отражение в замысловатой лужице. Гениальная фотография: я и мой не родившийся сын — как в зеркале. Ужас, правда? Это был какой-то тайный знак. Я даже хотел порвать её, но потом пересмотрел все фото, пытаюсь найти намёки на своё будущее. Ведь в жизни ничего просто так не бывает. Он так похож на меня, и он бы мог полюбить меня. А Нина после этого потухла. Да, она вроде бы такая же, но уже не светится. И всё, что она делает, она выполняет не то чтобы лениво, а как-то через силу, будто это я принуждаю её ко всему. Когда она смотрит на меня, она меня не видит. Точно так смотрят на шкаф или голую стену. Чего только я не пытался: и в театр её сводить, и в ресторан, — соглашается со всем, но лучше бы она ударила меня, накричала, разрыдалась бы, в конце концов. А теперь ещё и мальчик стал приходить. У него даже имени нет. А могло бы быть. Иногда после встречи во сне мучительно думаю, как бы я мог его назвать. Перебираю десятки имён и ни на одном не могу остановиться. У вас есть дети?

— Да, конечно. Хотел сына, но родилась девочка.

— Вы счастливый, — и во взгляде незнакомца я наконец-то увидел какую-то осмысленность и теплоту. — Странно, совсем недавно хотел уехать хоть куда, потеряться, может, даже покончить с собой, жизнь утратила всякий смысл. А ведь вернулся куда — к своему дому. Я здесь вырос. После похорон мамы мы поселились в её квартире. Это совсем рядом. Пойдёмте к нам в гости.

Я оторопело посмотрел на него: вот так поворот. Он не может справиться со своей дурью, но и я, посторонний, случайный, ему не смогу помочь, да даже и будь его другом, не в силах справиться с этим. — Знаете, не смогу. У меня работа, дела. Извините.

— Хотя бы до подъезда. Боюсь струсить. Опять куда-нибудь сверну, — щёголь, незнакомец и недотёпа, как в первую минуту нашей встречи, умоляюще склонился.

И мы пошли. И мне казалось, знакомы мы не каких-то несколько часов, а как бы выросли в одном дворе. Обменивались почтовыми марками и лупили из рогаток по воробьям, гоняли до одурения в футбол, а когда пришла пора взросления, растерянно посмотрели вслед друг другу и расстались, чтобы вот так неожиданно встретиться сейчас. — А вот и наш дом, — незнакомец протянул руку. — Я вам очень благодарен. Посмотрите, на балконе Нина. Может, она ждёт меня.

И он пошёл. Но в походке уже не было прежней уверенности, он как бы выверял каждый шаг, изредка бросал осторожный взгляд на балкон, словно ожидая хоть какого-то знака.

Женщина на балконе запахла халат, повернулась в сторону лесополосы и закурила. Я видел всё это и хотел им помочь справиться с той болью и отчаянием, которые накрыли их. Может, им правда надо сходить в церковь, подумал опять. Что-то же должно случиться,

не может быть, чтобы всего одна ошибка стала роковой? И я ещё раз оглянулся. Они уже вдвоём были на балконе. И мне вдруг так захотелось, чтобы он обнял её, упал на колени. Но не он, а она склонила голову ему на плечо и обняла.

И вдруг неожиданно, из какого-то небытия, виденное утром, но уже забытое, материализовалось это не поддающееся объяснению облачко. Мягкий, ненавязчивый свет обволакивал его, струился, и я понял: только оно, это утреннее чудо, может помочь им, откроет одно единственно верное решение. А что я? Простой человечек, букашка, только страдающему с похмелья жалкой десяткой на короткое время облегчу участь.

Сука-жизнь, вздохнул, а облачко уже накрывало двоих на балконе.

Виктор Самуилов

## ЧИК

«Чик! Чик! Ты куда запропастился, чертёнок этакий?! Извини, извини, дружище! Кушать подано... прошу к столу».

Послышался тяжёлый шлепок о доски настила. Чик в своём тёплом, уютном гнёздышке сладко потянулся, покряхтел, подвигал усами. Холодно снаружи, но кушать надо, тогда даже лютый мороз не страшен и спится хорошо, сладкие сны снятся: игривая остроносая соседка Чикиха... и всё такое. Горностайчик Чик тяжело повздыхал, на всякий случай громко пощёлкал. Мол, выхожу, иди к себе, пахучее, гремучее, дремучее Чудище. А Чудище не уходит, стоит в открытой двери, смеётся, разевая зубастый рот, исторгая клубы пара.

«Ну и соня ты, дружище! Ну прям мой сынуля, никак в школу не поднять. Как старичок, потягивается, кряхтит... — тяжело, со стоном, вздохнул, точно большой уставший олень, переступил ногами, крепко скрипнув подмёрзшей ломкой снеговой крошкой, наметённой в щели из-под двери. Выдул облако, хакнул зябко. — Вот такие дела, дружище, всё не слава Богу...» — затворил дверь.

Чик изогнул спинку, чихнул густым бензиновым и ещё непонятно чем пахнущим воздухом. Быстро прошмыгнул по углам, кося острым глазом на лежащую на полке большую рыбу: вкусно пахнет... Но посмотреть надо: вдруг кто из врагов, да и за друзьями глаз нужен, присматривается из далёкой норки к его законной добыче? Нет никого. Всё тихо.

Горностай рыбку за спинку — дёрг... ух, как холодно! Уже пристыла к доскам и деревенеть начала. Чик за хвост её острыми зубами уцепил, оторвал, потащил к себе в норку. Тащит, всеми лапками упирается, выгнулся, хвост беленький с чёрной кисточкой на кончике — туда-сюда — так и мелькает.

Уф... тяжело. И сыт вроде Чик, но уж больно рыба свежа, да и не ловит горностай рыбу, не умеет, а любит у плавников погрызть, там са... а... мые жирнющие места. Тащит Чик рыбу, слюнками исходит и ругается: не хватало забот, зачем лишнее ему?.. Соображать Чудище должно: скушает угощение Чик, вот и подавай тогда новое, а то навалит всякого добра... мяса, рыбы. Прячь, охраняй, а завидующих глаз ой сколько — весь изойдётся в тревоге. И вообще, не порядок — жадничать.

А всё же хороший друг у горностайчика: большой, добрый, рокошет всё время о чём-то. И зовёт, это горностайчик понимает, зовёт Чика — Чиком! Как он понял? Да просто!..

Вышло как-то из тёплой норы это большое Чудище, а Чик оголодал маленько. Леммингов нет, мышей нет, крыс разогнал, передал, да они и противные, несъедобные. Бегают в тёмном коридоре, крошки всякие собирает. И вот слышит: «Чик! Чик! Давай дружить!» — и кусок мяса — шлёп на пол. Ух, как вкусно пахнет! И страшно Чику, но есть хочется. Долго метался Чик в своём углу, пугая Чудище: громко сверчкал, чикал. А тот только смеётся: «Успокойся, дружище, это тебе угощение за работу. Избавил меня от крыс. Совсем зажрали серые, все запасы извели».

Горностайчик — мужик соображалистый, прикинул, что к чему, и поселился в коридоре, норку в старом матрасе сделал: тепло, сытно... Лежит себе да слушает. Вот дверь хлопнула, пошагало Чудище на улицу: снег заскрипел, лыжи деревянные хлопнулись о тропку, прошуршали в тундру. Ну и добро, принесёт зайца или куропатку, тоже вкусно. Чик тем временем по старому крысиному ходу — в домик, в тепло: и интересно тут, да и мышки кое-где шебаршат. Никак Чику всех их не переловить. Но он особенно и не старается. Без дела зачем лютовать?.. Пусть себе выводят мышат в старом валенке под кроватью. Мало ли что... поиграть можно и тёплой кровушкой разогреться.

Первый раз, когда Чик попал в комнату, нос крепко разбил. Прыгнул он на стол, туда-сюда, смотрит — птичка рядом, он — хватить её, да как дастся мордой о пустое, но очень крепкое. Странное что-то: тут тепло, а за этим... непонятным... снег лежит, вьюга воет. Но больше к окошку Чик не подходил.

«Ничего интересного, — решил. — Подумаешь... не пускает — и не надо, у меня свои дороги». Но любопытного много: и бумаги шуршат, и ящик разными цветами мигает, шумит, гудит что-то в нём. Похоже, что много чудищ в этом ящике. Как только они туда вместились? Убрался Чик к себе в гнездо от греха подальше. Всё ж иногда забегает в тепло, но лишь для порядка, мышей чтоб не развелось больше положенного.

Друг его — большое Чудище — уже долгонько не гремит сапогами, еды не подкладывает горностайчику. Никак опять приболел? Наверное, приболел... Чика этим не удивишь, запах тогда тут стоит!.. Чик однажды на столе сидел, так упал, надышавшись. Какое уж у друга здоровье?.. На воздух отдышаться убежал, сидит на хвосте, головой трясёт — бр-р...

Но есть хочется, опять бежит в дом, посмотреть, как там дела. Нет, лежит Чудище такое-сякое, стонет, бормочет что-то. Чик и понимать уже начал это утробное бормотание. Но и поневоле прислушиваться будешь. Много дней и ночей может лежать его большой товарищ. Ох и воняет тогда кругом, и кушать Чику нечего. Вот тут самое время поругаться. Вот уж Чик старается, из дырки в полу выглядывает, орёт благим матом, на стол, озлившись, прыгает, ещё пуще кричит.

Его друг лишь отмахивается: «Потерпи, дружок. Ужо... накормлю тебя маслом, сальца дам. Потерпи, дружок, сердце у меня...»

А Чик от таких слов уж и лютует, и слюной исходит. Он ведь знает, что такое — масло и сало, всё такое вкусное... тепло-то как в желудке, и всему Чику жарко от этих, в любой мороз по зубам, душистых кусочков. А лютует Чик от запаха — едкого, тяжёлого, от которого у него голова кружится и спать хочется. И плохо Чику. А значит, и другу плохо. Идёт этот запах от посуды, прозрачной и высокой, — от стакана, и даже от стола, и даже от пола. Всё пропитывается этим запахом. О друге и говорить нечего... Раньше по-другому было.

Было у Чика два друга: вот этот большой Ваня и поменьше, жила тут... с голосом высоким, громким. Вера её звали. Вроде мешала Чику своей беготнёй. А вот нет её — и как-то поскучнело кругом. Ветер злей стал, мороз лютей, и Ваня совсем изменился.

Давно ещё он Вере сказал: мол, ты в эту дверь не ходи, там Чик обитает. Смотри, какие морозы. Не беспокой его. Это верно, хлопают с утра до вечера дверью, лишь в ночь можно отдохнуть. Хоть горноста́й и смелый парень, но осторожность не помешает, в тундре, в диком краю, опасностей много, приходится на каждый стук под пол, под доски шмыгать. Потому на Ваню Чик частенько шумит, пугает на всякий случай. И на Веру шумел. Шумел... но когда это было?..

Теперь только на Ваню, если разбудит, не вовремя появившись в его владениях, тут Чик начнёт возмущаться взаправду: ох он и кричит... ох и оглушительно щёлкает, ох и чикает, за что, надо сказать, и получил своё прозвище. Ваня, конечно, сердится, но близко не подходит, лишь ворчит: «Ты чего раскричался? Я тебе свежего мяса принёс, а ты, неблагодарный, орёшь». Но Чик кричал и от радости, нюх-то у него — о-го-го! Сейчас погрызёт свеженинки, и чтоб Ваня знал: хоть он и большой и страшный, а Чик его не боится, дел у горноста́я много, мол, иди отсюда...

...Раньше горноста́й жил за ручьём, в норке у большой валежины. Однажды погнался за мышью, долго её гонял, устал, притомился, решил передохнуть; осмотревшись, увидел, что далеко забежал: запахи кругом чужие, неприятные, но и съедобным пахнут. А есть Чику хотелось: мышь сидела в норке. Ждать горноста́й не умел, не для него такая охота. Запрыгал он в сторону вкусных запахов. Долго лазил возле странной огромной то ли норы, то ли горы из дерева, и ещё много чего-то непонятного, холодного и крепкого навалено.

Всё же Чик нашёл маленькую дырку, осторожно забрался, оглядываясь и принюхиваясь. А там... Всем родственникам Чика за всю жизнь столько добра не съест.

Чик обрадовался, давай мясо грызть. И так увлёкся, что не заметил, как к нему подобралась две огромные крысы. Еле Чик увернулся. Выскочил из домика, кричит, злится... Да как же эти воровки смели его напугать?! Ах, наглые!.. Рванулся Чик назад и сразу же белой молнией

на врагов налетел. Куда там крысам с горностаем тягаться! Маленькую он сразу уложил: за загрывок — и всё! А другая, старая, хитрая, пыталась в угол забиться — нет уж... Чик по стенке, по потолку, с одной стороны, с другой бросается. Не выдержала серая хищница, наутёк рванулась, тут её Чик и перехватил. Но сколько этого зверья оказалось в округе — и не счесть. И все к мясу лезут, на Чика зубами щёлкают. Горностай даже ушёл, но ненадолго. Привёл он подружку, Чикиху.

Ваня, открыв дверь, долго их разглядывал, стараясь понять, кто из них кто и как звать. У одного мордочка потупее, ушки кругленькие, но телом покрепче, подлиннее. Пусть ты Чиком будешь. А ты, значит, Чикиха... Ну, правильно, смотри, какая рожица пройдошистая. И сама как веретено, чуть что — на мужика в драку бросается.

С месяц Ване и Вере горностаи спать не давали, свою территорию от крыс очищали. А тем идти некуда, они только в соседстве с людьми живут: сражались насмерть. Главное их логово было под крышей вагончика, лаз туда один, и крысы его внимательно охраняли. Чика чуть не загрызли, когда он один туда попал, путь назад три здоровущих отрезали, а штук пять давай его гонять по всему чердаку.

И пропал бы Чик, если бы не Ваня. Как он начал снизу дубасить палкой по потолку, крысы-то и обмерли на секунду, а Чик в это время и вышмыгнул вон. Вот после этого у них и началась настоящая война. Чик с Чикихой гнездо под полом свили, Чикиха по весне маленьких горностайчиков принесла. Вот горе началось: гнездо не бросить, вмиг лишит потомства серое зверьё, но и на чердаке такие же дела, и там маленькие пищат.

Стал Чик караулить крыс у входа. Только появится серая, он прыг на неё — и за загрывок. А тем терпежу нет, на чердаке кушать нечего, к мясу, к крупе, к сухарям идти надо. Совсем дошёл до ручки Чик серое зверьё.

Однажды он схватил первую крысу, а следом ещё лезет и его за хвост — цап! А другая — за лапу. Заверещал Чик, как молния Чикиха влетела. Пять крыс положили в этот раз горностаи. А потом забрались в их нору и последних крысят передавили. Теперь никто им не мешает. Если б не семейные дразги...

Чикитята подросли, разбежались по обширным Ваниным владениям. Живут себе — не тужат. Только вот Чикиха ни с чего озверела, набросилась как-то на Чика, такую ему трёпку устроила, что Ваня выскочил, ругаться начал, успокаивая их. Да куда там... летит вата из гнезда по всему коридору, катаются белым клубком Чик с супругой. Схватил Ваня мухобойку да как хлопнет резиной по спине Чик, но и Чикихе досталось.

Разлетелись они в разные стороны, мечутся в углах, трещат друг на друга и на Ваню, что отношения выяснить не дал. Плюнул Ваня: «Ну и чёрт с вами, не можете жить по-человечески — расходитесь. Только я вам мясо по углам таскать не собираюсь».

Не помирился Чик с супругой. Обиделся и на Ваню, ушёл. Правда, недалеко, в железный контейнер, там рваная фуфайка валялась и Ваня хорошую рыбу прятал. Так что, пока Ваня спохватился, Чик здорового чира крепко ему подпортил: печёнку выгрыз и где пожирнее — брюхо и под плавниками — погрыз.

Хозяин в город собрался ехать, глядь, а рыбина обглодана. Стоит и ругается: «Ах ты, рожа бесстыжая! Ну, не сошлись характером, разъехались. Так я при чём? Я ли тебя не кормлю, оглоода? Я же специально у твоей бывшей еду оставляю: может, помиритесь?..»

А Чик на Ваню смотрит, вроде слушает, вроде понимает. Кажется Ване, что и вздыхает: мол, что же я сделаю, природа, батенька... бывает с Чикихой такое, потом опять сойдёмся. А может, и нет... Вон сынок какой в соседнем контейнере подрос, запросто Чикую дорогу перебежит и морду наколотит. Понял, наверное, сетования Чика человек: «Ладно, дружок! Не грусти! Природа есть природа! Действительно. Против неё не попрёшь. Я тебя уж не забуду, самое вкусненькое буду носить. Ну а чирика придётся доесть тебе, не обессудь».

Вот и живёт Чик. Летом он становится рыженьким с тёмной полоской на спинке, белым брюшком и пушистым хвостом с чёрненькой кисточкой. Летом-то раздолье, вкусного кругом... не лопнуть бы. Зимой тоже хорошо. И Чик посерьёзнее стал, не мечется без дела по тундре, поумнел наверное, может, Ваня чего надоумил. Иногда откроется дверь, Чик из-за ящика с гвоздями глазёнками сверкнёт навстречу человеку, усами двинет, а друг говорить начинает. И долго говорит, и противно от него пахнет. Убежит Чик, голова кружится, плохо даже ему становится, но жалко Ваню, опять ведь заболает, лежать и охать будет. Вернётся, за ящик спрячется, слушает...

А друг и не замечает, что Чик убегал, всё рокочет: «Ты, зверюшка, этих баб меньше слушай и не уступай ни в чём. А то как липку оберут, пойдёшь по миру без штанов. Хотя какие у тебя штаны? Счастливый ты всё же, Чик, никто тебе не хозяин... Если Чикиха твоя — стерва, так и то я тебе пропасть не дам... Ты их, сук, в дом не води, сам лучше к ним шнырай... потешься, расслабься, а чуть что — к себе.

Как ни странно, но так Чик и поступал. И к своей Чикихе похаживал, и к дальним молодушкам успевал. Правда, раза три лупили его крепко, только шерсть по сторонам летела, но без этого какой он мужик?

На казённых харчах вообще-то можно облениться. Но постепенно всё меняться стало. Однажды Ваня совсем плохой в контейнер к Чикую в гости пришёл, даже и стул себе принёс, что-то звякающее и булькающее на ящик поставил, потом мяса жёлтого за ящик Чикую бросил: «Посидим, дружок, совсем невмочь стало...» Ваня выпил, крикнул и, уж чего вообще не любил Чик, начал дымить противно и едко. Чик защёлкал: мол, уйду...

«Всё! Всё! Дымку глотну маленько, и всё. Извини...» — Ваня замахал рукой, разгоняя дым. Потом загудел, прерываясь и подолгу сморкаясь:

«Ты знаешь, Чик, совсем ничего не пойму. Живёт нас много. Мы ведь с понятием, ум приложен. Только вот зачем он? Эх, Чик! Если б ты знал, сколько таких, как я, по земле набросано — хворост, а она — тебе и представить невозможно какая огромная. Да чего далеко говорить? У вас вот подошло время, и ты к Чикихе побежал. Так ведь не каждый день. И не как... вот говорят: как зверьё... изнасиловали. Куда уж вам! Дочку мою, Чик, замучили. Изрезали, изожгли, а потом повесили. А так далеко, что и похоронить не могу. Денег нет, занять не у кого, продать нечего. Билет... год работать надо, а полгода денег не получаю, — опустил голову Ваня, руки уронил. — Пошёл к начальнику. А тот: мол, ты чего? Куда ехать? Случись с ней такое тут, и то — как сам выкрутишься... Иди работай, терпи. Без тебя управятся... Вот и терплю... Весь мир наш, Чик, осволился, изживотился».

Ваня загремел стеклом, забулькал, глубоко глотнул, положил в рот кусочек мяса. Пахло оно вонюче, и Чик заверещал. «Да, да, дорогой, колбасой это называется. Чуешь, чем пахнет? Может, и крысами, может, ты и прав. А что делать, Чик? Чего дадут, когда дадут, то и жрём. Слушаем, что говорят, и всё делаем как скажут. И видим, Чик, что творится плохое. И люди ведь есть хорошие. Только им не пробиться с правдой к власти... Вот и с дочкой. Даже искать не стали. Мол, наркоманка, сама и отдалась, сама и повесилась... Всё может... Только изрезаться так сама не могла...»

Долго сидел Ваня, долго говорил. Грозил кому-то. Ушёл, даже контейнер не закрыл.

...Потом он часто стал приходить. Чик к дыму и к вонючей воде привык. Голос Вани ему нравился: не сердитый, не громкий. Говорит тихо, спокойно, всё больше спрашивает... А что Чик ему ответит? Грызёт потихоньку кусочек белого мяса — сала — да слушает.

«Ты, Чик, самый счастливый человек на свете. Заболел — травки погрыз, или уж время пришло — сдох так сдох. А тут вот по докторам пошёл: рыбу неси, мясо неси, деньги давай. Плюнул на них я, Чик! Я, как ты, сколько положено, столь и жить буду. А всё же жалко, ничего у меня тут нет, и Верка уехала. Совсем уехала. И там, Чик, у меня никого теперь нет, никто не ждёт, никому не нужен. Воюют везде; я, может, воевать опять пошёл бы. Сын-то у меня... старший! Воевал, воевал, по стопам отца двинулся... где он сейчас?... На моих руках, Чик, крови нет! Нет! А всё ж пошёл бы... так старый, не нужен. А молодым зачем такой грех, такая тяжесть?! Эх, боец! О чём я?... Ну... даже в город ехать мне, Чик, страшно. На днях у соседа наркоманы дверь вынесли, и было-то — холодильник „Ока“ да „Рекорд“ — телевизор. Благо дома не было самого, а то... И до меня доберутся, хоть и нести нечего... доберутся. Стариков, говорят, на материк переселяют. Эх, Чик, каких стариков? Я даже не знаю! Я, наверное, всё же поехал бы. На озеро своё хочу посмотреть в последний раз. Утром на берег выйдешь... тихо... дымка по лазоревой глади стелется, плывёт,

дышит неслышно, тростник чуть шуршит, ива головушку склонила, косы распустила, шелестит потихоньку, грустит красавица. Сядешь на бережок, на травку, так она ласкова, тепла, пригрета, обсушена от росы солнышком, ещё не высоким, из-за далёкого, синелого, зубчатого леса выплывающим, — и про удочки забудешь. Птички в тиши звонко, весело щебечут, вроде и забот не ведают. Рыба крупная, щука или лещ, в тишке под ветлой по козявке или сдуру хлестанёт — круги по воде... и далеко по зеркальной глади бегут, кувшинки качаются... А воздух какой там, Чик! Травой пахнет, там и лилия с воды, и медуница из болота, и василёк изо ржи аромату прибавляют — ох и запахи! А вода пахнет чистотой, прохладой манит, облаками белыми, бегучими по глади, к себе зовёт. Эх, Чик! Жизнью там пахнет! Родина моя там! Малая моя родина. Там я, дружок, родился и вырос, вот как ты тут. Тебе всё тут мило и приглядно, а мне — нет: не глянутся безлесье и ветер постоянный, зимы длинные, ночи длинные, на всю морозную зиму. А лета и глонуть не успеешь, да мошка и комарьё всё опоганят. Сколькo, Чик, я там исходил, избегал по тропкам, усыпанным хвоей и сосновыми шишками. Крутятся они меж бронзовых стволов, ввысь к кудрявым зелёным маковкам тянутых. Летаешь по тропкам, в глупости и неге, без усталости, то на рыбалку, то по ягоды, то по грибы. Ох и подошва у моих ножек была — как на кирзовых сапогах, гвоздём не пробьёшь. Не знаешь? Не слышал? Зачем тебе?.. Я бы сейчас пошлёпал, постучал пятками о тропку, помял бы мох, а тут никак... мерзлота кругом, сляжешь вмиг, скрючишься. Хочется к землице своей прикоснуться, хочется...»

Ваня забулькал, потом охнул, хакнул. Чик сердито защёлкал.

«Тебе-то вот не требуется зелья. Вот и радуйся. А я не могу. Замутит, замутит... там, внутри. Да так... хоть грудь порви, развори всё, найди эту муть сейчас же, успокой. Больно, ноет... слов нет, как ноет. Вот дряни этой приму — и вроде полегчает. В далёкое можно отправиться, вспомнить, как с друзьями... Ох, Чик, какое же расчудесное время нам сопутствовало. Жарко, правда. Но всё равно. Солнце сияет, в серебро с позолотой всё окрашивает. Через весь океан — горизонт, и на небо — путь серебристый, глазам больно, зовёт, манит. По этой бы дорожке да к солнышку прямо — и сгореть бы... А ты ведь и океана-то не видел. Ну как тебе объяснить? Это тоже небо, только у тебя под ногами. Жуть!.. И корабль ты не видел: огромный, серый, пушки на нём, ракеты, самолёты... Вот так, Чик. Страшное они таят в себе. „Ноль полста пятый“ — мой позывной был; горбатенький винтокрылый Ка-25, мечта... И он боец, и он для смерти предназначен. Но под солнцем, голубым небом всё как добром омытое, но издали, Чик, издали, а вблизи зябко становится. А ты, Чик, не смотри рядом. Ты вдаль гляди... необъятность ни душой, ни сердцем не измерить. Вечность там... где конца-края нет. Её понять надо... принять. А мы, казалось, вечны, и сила с нами навсегда, и здоровье, и молодость.

Ветер ночью как живой, а ночи!.. Глаз коли... Ветер чуть волосы трогает, шепчет: „Живите, хлопцы, любите, радуйтесь мигу...“ И мы, Чик, радовались, и мы любили; и всё перемешалось, а всё прекрасно было. Молоды были, безрассудны и смелы...»

Застонал Ваня, грудь мять начал, слеза из помутнелых глаз пошла дорожкой по серым морщинистым щекам, в седую бороду скатилась. Дёрнул Ваня головой, посмотрел на Чика. Горностай, конечно, слушает, но и дело знает, потихоньку грызёт сало, не спешит. Куда ему спешить? Интересно всё же Чики с Ваней, вон какой большой, а по голосу вроде жалуется горностайчику, понимания и защиты просит. Ну, пусть...

«Всё не вечно, дружище. Не вечна любовь, продажна дружба. Всё, Чик, у людей покупается и продаётся: честь, совесть,— волчьи законы. Это я так... Не волчьи, человечьи! Не хочу я туда, не хочу к ним, к двуногим. Вот ты — зверь, даже хищник. Но ведь понимаю, за что ругаешь меня. Мол, зачем без дела, не по потребностям, округу обираешь? Прав ты, дружище, о, как ты прав! Но всё почему? Почему? Да завтра не знаю, как жить, с чем встречу и провожу день. Вот и извели всё, без ума и счёта, и себя не пожалели. Много я, Чик, видел, много знаю, только зачем это? Кому нужно? Для чего по жизни прошёл, прополз? Познал её? А? Скажи как на духу! Скажи! Сколько я тут?! Год, два, десять, сто лет?.. Зачем нам понимание, зачем нам знание, если, кроме мук и боли, я не имею ничегошеньки? Зачем всё? Уйду из мира — уйдёт и моё... И никому никакого дела до Вани: был Ваня... И надо так. И надо так. И боль, и недоумение, Чик, не залить этой заразой. Не залить! — Ваня хватил кулаком о ящик. — Щуку услышать, как она в тросте хвостом бухнет, мальков вверх бросит, серебро в брызгах воды. Снасти бы туда, блесёнку или живчика... Да нет, не вернуть! Не посидеть на бережку... И иволгу не услышу. А соловей, Чик! О, певец! Не поймёшь, дружок! Ты всё ж таки зверюшка, хоть и смышлёная. У тебя душа не болит, что зорьку вечернюю с коровьим стадом, с выпаса возвращающимся, увидеть до смерти хочется. Что поутру с петухами и первыми лучиками солнышка проснуться хочется. По росе босому пробежаться бы. Цветок луговой сорвать, вдохнуть жара лесного с земляничной поляны, кислицы пожевать... Молочка парного попить. Эх! На мир далёкий, родной глянуть хоть глазком...»

Чик всё слушает. Может, понимает чего. Говорить не умеет. Да и некогда. Кусок сала осматривает: припрятать вроде требуется. Ваня добр, конечно, но вдруг пожадничает, с собой унесёт? Бутылку-то в карман положил, про запас, наверное. Мало ли что... Действительно, жизнь... Ваню послушай — о-го-го! Да и тут посматривать приходится.

Бегал Чик, друга наслушавшись, к себе на родину, под валежину, на лысый косогор. Лиственница небольшенькая у норки, а побольше, на которой сова обычно сидит, прям на пути у Чика. Вроде нет никого на суку, смело помчался горностайчик, только рыжая шкурка мелькает.

Там под сучок, тут через пенёк. Там по мху. Остановился в густом голубичнике, прислушался: тихо, ягоды висят тёмно-синие, сочные, крепкие. Тьфу на них, дальше помчался. Вот и норка. Обвалилась, зарос вход, мох, травка. Чуть выше его ловушка и капкан, кругом перья и кости, в капкане совиная страшная когтистая лапа. Выгнулся Чик крепкой гибкой спинкой, усами двинул, чвикнул испуганно и домой быстрее, поближе к Ване.

Хорошо-то как с большим зверем. Сидит Чик у ящика с гвоздями, жёлтое мясо подкусывает — вкуснятина! Непонятно, откуда чего берётся, от какого зверя мясо. А Ваня на табуретке сидит, водку пьёт.

«Если б ты знал, Чик, какой мир огромный...»

Не знает горностай, не хочет знать, ему тут хорошо. Теревит уже кусочек мяса с косточкой, этот вкус ему знаком — куропачья ножка, и мыслит припрятать. Уже наелся, бусинками на Ваню сверкает: мол, спать хочу. А тому хоть бы что.

«...Какие ночи там! Какие города! А женщины... разные женщины. Красивые и нет, темнее наших и... другие они. Таинственные, недоступные... для нас. Мы молодые. Мы тоже красивые. Представители великой страны, самой могучей армии и флота. Честь мундира, честь всего нашего многострадального народа... не уронить! держать! А мы молодые, Чик, здоровые, всё интересно, всего хочется, и ничего нельзя. Честь, дружище, блюли, честь Страны Советов. Под наш флаг, Чик, важные иностранные чины во фрунт вставали. Вот как! Наш флаг кровью, Чик, окрашен. Нашей кровью, моей, дружок... и море слёз... А мои руки чистые! Чистые! Ты запомни это! И ещё запомни, что молодые мы были, Чик... ох, какие молодые! Ты не поверишь... Домой идём, домой спешим, ветер в рожу, солёные брызги на губах. За кормой бурун, след за нами на десятки миль, а мы идём, а мы спешим... Пять раз меня ждали. Все глаза проглядел, всё сердце вырвал, дверь открыл... пыль кругом, тихо, тленом пахнет. Всё тлен, Чик! Рано или поздно — всё тлен, прах. Прости, дружище, тебе-то знать зачем? Эх, Чик, а счастье-то в чём? Да во встречах и расставаниях. Это так прекрасно — ждать! Жить и ждать! Жить, чтобы ждать?.. — голова у Вани поникла. — И сейчас я, Чик, жду, и я знаю, чего жду. И встречи, и расставания... Только чтоб тебя встречали, чтоб тебя провожали. К этому стремись, братец, этим и живи. Живи надеждой и мечтой! А может, я не прав? Все шестьдесят лет не прав? Нет прекрасного, нет стремления, нет желания — ничего нет, всё видимость? И никто не умирает последним?»

Опять закричал Ваня, глубоко глотнул из синей эмалевой, обитой по краям кружке. Закашлялся.

«Человек умирает... А надежда? Может, её и не было? Жил как все? А ждать?.. Да! И ждал, и мечтал! Ну, пошёл я, дружок. Пойду помечтаю, понадеюсь, — дребезжащий смех тихо сошёл с губ Вани, — повспоминаю...»

Много времени прошло. Частенько беседовал Ваня с Чиком. Стукнет Чудище кулаком о ящик или загремит могучий голос — Чик тут как тут, засверкочет, замечется.

«Всё, всё, дружок, прости, молчу... погано всё! Не сдержался. Извини. Прав ты, и сердечко...»

Но вот не слышать что-то знакомых шагов, и осень настала, и снег выпал, и морозы ударили. Чик, грешным делом, туго пришлось: работать надо — пропитание искать, от врагов отбиваться. Носится привычно по владениям, весь в заботах и делах, но вдруг пахнёт чем-то знакомым издалека, и заглянет тогда в избушку: пусто, холодно, из окошек стёкла повысыпались — ветром ли побило, сами ли потрескались.

Послушает, усиками поводит, хвостиком дрыгнет. Не слышать знакомых шагов, не хлопает дверь, не скрипит снег, не рокочет добродушный голос: «Привет, дружище! Не оголодал ли? Я тебе вкусенького принёс...»

Всё реже Чик набегает в домик. Всё реже вспоминается большой друг и его голос: «Чик, Чик, где ты?..»

Наталья Скакун

## Мизерные трагедии

## МАША ТИМОФЕЕВНА

Маша Тимофеевна получила своё имя-отчество на мебельной фабрике, куда пришла работать юным технологом в двадцать цветущих лет. Вместо солидного «Мария Тимофеевна» представилась подчинённым Машей. Пожилая рабочая Лидия, в прошлом заслуженная зэчка — таких много было на производстве, рассмеялась и уточнила: «А по папашке-то вас как величать?» — «Маша... Тимофеевна», — растерялась Маша. Так к ней и прилипло до самой пенсии — Маша Тимофеевна. Когда в телефоне голос затребовал Марию Тимофеевну, Маша поняла, что звонят не с бывшей работы (иногда её «дёргали» помочь, и она была рада). Звонила сродная сестра свекрови Елизаветы Викторовны тётя Ирина, потопталась охами-вздохами в Машиную уху и, наконец, сказала главное: свекровь Машина умирает и вызывает Машу. «Надо ехать, — строго сказала тётка, — всё ж родная тебе свекровь, а я не могу по ночам её караулить, у меня своего здоровья нет. Вот на Пасху и приезжай». Известие было ожидаемым, свекровь давно болела, и болела как жила — самостоятельно, но тут, видно, её самостоятельность закончилась. Самостоятельно только в петлю лезут, а по-доброму умирают как рожают — сообща с кем-то. Что свекровь родная — права тётя Ирина: у свекрови с Машей Тимофеевной общая кровь во внучке-дочке Танечке. Иногда Танечка смотрит на мать, и Маша Тимофеевна во взгляде её видит свекровь: взгляд-дрель, взгляд — буровая скважина. Такой взгляд извлекает из человека всю правду, как бы глубоко она ни залегала. Маша Тимофеевна позвонила Танечке, попросила поливать цветы, кормить кошку. Дочь сказала, что кошку и цветы заберёт к себе. Маша Тимофеевна вздохнула — старой кошке Рысе будет непривычно и плохо у дочери в доме. Но тут уже дочке решать, не кошке и не Маше Тимофеевне.

Маша Тимофеевна выехала на следующий день. Она уже хорошила, знала, что мешкать тут нельзя. Хоронила она сына Елизаветы Викторовны, своего мужа Сашу. Вместе с Елизаветой Викторовной и хоронили. Пьяный Саша разбился на машине, но умер не сразу, помучился сам, помучил жену и мать. Дочь Танечка была мала, не понимала. Через несколько лет Маша Тимофеевна снова вышла замуж, свекровь её осудила и не общалась с ней, пока Маша Тимофеевна не развелась. Благо, это скоро случилось, через шесть лет. Второй муж пил как Саша и даже больше. Всё время второго материного

замужества внучка Таня навещала бабушку как ни в чём не бывало, а Маша Тимофеевна только посылала свекрови безответные приветы. Сама Елизавета Викторовна после смерти супруга замуж не ходила, потому Машин второй брак восприняла как измену покойному Саше. Елизавета Викторовна была твёрдой женщиной, несгибаемой в принципах.

Машу Тимофеевну лежащая свекровь встретила обычным твёрдым взглядом, говорящим: «Есть работа». Тётя Ирина Маше всё объяснила: диагноз, прогноз, график болей, где что лежит. В доме свекрови стоял запах смерти и не исчез после генеральной уборки. Смертью пахла сама свекровь — чисто умытая Машей Тимофеевной. В груди у свекрови булькало и хрипело, в животе плескалась вода, будто свекровь лопнула изнутри. Свекровь отказалась от пасхального кулича и яиц, она ела одно только яблочное пюре и немного пила молоко. С молоком как раз пришла соседка, предложила Маше Тимофеевне помощь по хозяйству. «Огород-то почистить надо, скоро пахать! — намекнула соседка. — Если вам тяжело или некогда, мы вам Юру пришлём, нашего раба». Так и сказала: раба! Маша вышла следом за соседкой осмотреть огород. Осенью его не убрали, из-под снега вытаяла картофельная, свекольная и морковная ботва, по краям огорода торчали соломенные скелеты прошлогодних двухметровых сорняков. В ногах их перемещалось что-то живое — рыжая курица. Ветер заголял ей тощие синеватые ляжки — перо на курице было редкое, жидкое. Наверное, соседская, решила Маша Тимофеевна. «Елизавета Викторовна обещала нам огород под картошку отдать, — пояснила соседка заботу об огороде. — Что ему зарастать? Ты же не сразу дом продашь. Не вздумай сама убираться. Юрка всё сделает».

Юрка явился на другой день: видно, соседка держала вопрос на контроле. Немолодой худой Юрка пришёл со своим инвентарём. Маша Тимофеевна предупредила его, что в зарослях бродит курица, наверняка потерялась. Но Юра покачал головой — его хозяева кур не держали, здесь никто уже не держал кур. Он вычистил огород, поджёл мусор, вкусно запахло дымом, Маша Тимофеевна не удержалась — вышла полюбоваться на огонь. Юра поправлял костёр вилами, добивался равномерного сгорания. «А курица под шифер залезла», — показал он рукой на край огорода. Лист шифера, прислонённый к забору, закрывал дыру. «И забор менять надо, — подсказал Юра, — и курицу зарубить, бабушке вашей на суп». Маша Тимофеевна предложила ему денег за уборку, он не взял. Попросил только досмотреть костёр, чтоб ни искорки не вылетело, — переживал о хозяйском добре. Маша Тимофеевна досмотрела, заодно попыталась накормить курицу, крошила ей пасхального кулича с изюмом. Курица сначала наклоняла голову — высматривала, нет ли подвоха, потом взялась тукать клювом, всё быстрее и быстрее. «Голодная!» — пожалела Маша.

На другой день вечером Елизавете Викторовне стало хуже, она захрипела, как в агонии. Маша Тимофеевна предложила вызвать скорую, свекровь согласно кивнула ресницами. Елизавета Викторовна сама умирала впервые и от помощи специалистов решила не отказываться. Не торопясь, приехала скорая, пожилой фельдшер был подвыпивший (Пасха, простительно), радостно провозгласил: «Христос воскрес!», бегло осмотрев свекровь, предложил забрать её в больницу. Елизавета Викторовна снова согласилась; кажется, она даже обрадовалась. «Значит, скоро конец»,— мелькнуло в её довольном взгляде. Маша Тимофеевна обещала свекрови навестить её в больнице, проводила носилки, фельдшер ей весело помахал, и гостя осталась в доме одна.

Машу Тимофеевну охватил непонятный страх. Она всегда была рядом с живым существом, хоть с кошкой, но с живой, всегда шумел за окном город — а это как быть на людях. А тут тишина, даже Рыськи нет, и впереди пугающая ночь. Маша Тимофеевна собралась с духом и помчалась в конец огорода. Курица была там — сонная, тёплая под пером. Маша её осторожно подхватила и понесла в дом, радостно ощущая в руках живое тельце. Сонная курица в доме неловко побежала по скользким половицам, гремя когтями, уронила бело-чёрную ракушку помёта. Маша Тимофеевна посмеялась над её испугом, накрошила курице кулича, уже сухого. И сама поела, запивая молоком. Молоко у соседки было жирное, вкусное, словно бархатное. Курица стучала и стучала клювом — так у бабушки ходил её старый «Зингер». «Рябочка, Рябочка, ешь-ешь»,— хвалила её Маша Тимофеевна. Теперь ей было нестрашно. Тишины не было: курица стучала клювом, скребла когтями, шуршала старым пером. Ноги у неё были синие, тощие. «Прямо как мои»,— умилилась Маша. Курица уснула под стулом — задёрнула серой плёночкой бусиничные глаза. А Маша Тимофеевна ворочалась, планируя грядущие похороны: как ставить столы, что готовить. Особенно её пугала стряпня, она не представляла, сколько человек может явиться на свекровины похороны, роднилась ли свекровь с родственниками, были ли у неё подруги, дружили ли с нею соседи... «Надо спросить у Елизаветы Викторовны»,— решила невестка.

Утром она убрала новые куриные ракушки, выпустила Рябочку на улицу и поехала в больницу с баночкой детского яблочного пюре. Свекровь была спокойной, ободряюще похлопала невестку по руке. Говорить не пыталась, хрипы душили её. Маша Тимофеевна не спросила, сколько гостей ожидать на поминки. При свете дня и при виде живой свекрови вопрос показался ей невозможным. Она зашла к заведующей терапией — молодой раздражённой женщине. «Пока места есть, пусть лежит»,— махнула рукой врач. Маша Тимофеевна отправилась в обратный путь.

Курица гуляла по огороду: разгребала землю и всматривалась в неё. Маша Тимофеевна взяла грабли и принялась за садик перед

домом. Чесала и чесала старую траву, пока всю не вычесала. «Сами убираетесь?!» — крикнул из-за забора Юрка. Маша ему кивнула. «Курицу ещё не зарубили?» — напомнил он. Маша помахала ему «нет-нет». Говорила по телефону с дочерью. Танечка доложила, что кошка зеленеет, кактус полинял. Маша Тимофеевна рассказала о бабушке. Танечке понравилось, что бабушка в больнице: «Бабка ещё нас с тобой переживёт!» Маша Тимофеевна позвонила и тётё Ирине, справилась о количестве родни. «Все разругались, — вздохнула тётя Ирина, — не сосчитать». Маша Тимофеевна постирала шторы, сходила в магазин, пораньше занесла курицу. Поужинали вместе, посмотрели телевизор. Курица даже пару раз квохнула. «Забрать её с собой? — соображала Маша. — А почему не забрать? Ну, пачкает она, так ведь мне нетрудно убрать». Ночью зашумел ветер. И качал, и гремел, и бухал — всё ему игрушки-погремушки. Маша Тимофеевна не спала, думала: за сколько можно продать свекровин дом в пригороде? Дом она явно Танечке завещала. «А может, не продавать? Место тут хорошее, вилами потом застроится, можно дачу пока тут устроить. Вот если бы можно было спросить у свекрови, как она считает», — думала Маша Тимофеевна. Маша Тимофеевна доверяла Елизавете Викторовне.

Утром всё повторилось: уборка, кормление курицы, сборы и поездка в больницу. У свекрови была перемена, она сосредоточилась. Видимо, приступила к самой тяжёлой части работы. Маша Тимофеевна погладила её по руке, передала приветы от Танечки и Ирины, рассказала о курице. Свекровь похрипывала, побулькивала. Маша Тимофеевна, конечно, ни о чём её не спросила. Тихонько выскользнула из отделения, чтобы не встретить заведующую, не услышать: «Мест больше нет». Ветер так и не утих с ночи. Откуда только силы брались у него? Качал берёзы, как веники, выметал ими небо, а оно всё не разметалось — серые тучи тесно-тесно заполнили его. Маша Тимофеевна планировал сжечь вчерашнюю траву, но при таком ветре передумала, решила заняться посудой, пересчитать и прикинуть, хватит ли её, предварительно заехала в хозяйственный отдел — прицениться на всякий случай. В магазине была скидка на горошек, Маша Тимофеевна взяла с запасом, ведь он не испортится, а на салаты надо.

Вернулась — и застыла у входа: на ручке входной двери висел пакет, из пакета торчали куриные лапы. Маша Тимофеевна сначала не поверила, побежала в конец огорода, заглянула под шифер. Под шифером было пусто. Она вернулась к пакету. Лапы были те самые — синие и сухие, как у неё. Маша прорыдала весь вечер и проревела полночи. Только начнёт успокаиваться — высовываются жёлтые когти и синие лапы.

Утром ей позвонила медсестра из больницы, сообщила, что Елизавета Викторовна Баранникова умерла в четыре утра. Маша Тимофеевна сразу успокоилась, созвонилась с тётёй Ириной, и они доделали остальную работу: похороны, поминки. Посуды хватило, и гостей

было в самый раз. Ни на кладбище, ни за столом Маша Тимофеевна не уронила ни слезинки, отметили гости. Что с неё взять — невестка.

## МОЦИОНЩИК

Клещ меня укусил на папоротнике — я их по несколько десятков в день с себя снимала, но этот оказался особенным, энцефалитным. Нас, порченных клещом, в первом нервном было несколько человек. Все — любители природы и её даров. Я была младшей: лежала на своей койке, слушала взрослые разговоры, сама не встревала — не положено мне было по молодости лет. Интересных разговоров и рассказов, надо отметить, было мало. Преобладали рецепты — кушаний и травяных настоек от всех болезней. Я тогда просто пялилась в потолок, прикидывая, может ли кто в него доплюнуть. Наше отделение было до революции странноприимным домом. А потом нагородили из дореволюционного пространства палат — они вышли тесными, но с высоченными потолками. В высоту наши палаты были больше, чем в длину. Окна были с низкими широкими подоконниками и тоже высоченные. Шторы для всех отделений шили одинаковые, всем были впору, и только нервное стояло как подросток в прошлогодних штанах. Нижнюю голую часть окон наши больные сами закрывали газетами, завешивали халатами.

Всех энцефалитных в нервном ожидала пункция. О, эта боль памятна мне! Сам прокол спины уже тянет на ослиный рёв, но вытягивание спинномозговой жидкости — это мука просто адская, кажется, что твой мозг высасывают проклятой иглой. Я через это прошла без всякого мужества — орала и бранила врачу Эльзу. После пункции сутки надо лежать, не вставая. Вот и смотришь в потолок. После меня пункцию делали пожилой тётке Наде. Тётя Надя тоже улеглась ровно, глядя в потолок. Муж её, обычно передававший Наде передачи в коридоре, пришёл к ней в палату. В белом халате он был очень похож на врача, даже на профессора — высокий, седой, очкастый и с таким солидным голосом. Он бубнил утешительное, просил Надю слушаться врачей и лежать спокойно:

— Это принципиально, Надежда, принципиально.

— Какой у вас муж солидный, — похвалила его, лишь только муж ушёл, больная Валентина.

— Сразу видно — заботливый, и семья у вас хорошая, — отозвалась из другого угла нашего восьмиместного пенала Раиса. — Долго он у тебя?

Вопрос прозвучал смешно, будто речь шла о собаке. Все засмеялись, даже Надежда, поморщившись от боли.

— Дайте посчитаю, — задумалась счастливая жена. — В первый раз мы с ним сорок один год прожили, потом он от меня к Люсе ушёл, четыре года ушло на Люсю, а сейчас мы с ним уже три года живём. Это что получается? Если считать без Люси, то сорок четыре года, а если и Люсю посчитать, всё же она нам не чужая теперь, то все сорок восемь.

— Это как? Это что за Люся? — заволновались женщины от такой арифметики.

Надя вздохнула, осознав неизбежность рассказа, и повела его:

— Да, жили мы с мужем хорошо, детей у нас двое, сыновья, оба на Севере. А муж шутил, что мы тоже на Севере живём. У нас рядом кино-театр «Север». Знаете? Я работала телеграфисткой на Главпочтамте, а мой Пётр Иванович — в Институте леса. Вы его точно угадали, хоть он не профессор, но учёный, всё про лес знает, каждого короеда в лицо. Тут ему не откажешь. Я сама деревенская, с Подкаменной, а он городской, от городских родителей, очень культурный. Каждую субботу у него был моцион.

— Это что такое? — хихикнула Валя.

— Это у него прогулка такая. Выходит он утром от нашего «Севера» и идёт по проспекту, по набережной, по мосту на другой берег. Идёт, по сторонам смотрит, какие в городе события или перемены — всё замечает, встретит знакомых — поговорит, всё обсудит с ними. И мне хорошо. Я спокойно стираю, полы вымою, обед сварю. Пётр Иванович возвращается — дома уже чисто, наварено, он мне все новости рассказывает, а потом идёт к соседу Семёнову в шахматы играть, а я вяжу или глажу.

— Ты работаешь, значит, а он культурно отдыхает, моционщик, — хмыкает Валя.

— Так мне же в удовольствие, говорю. Зачем мне мужик в субботу? Под ногами вертеться?

Женщины одобрительно гудят, тоже не любят вертящихся под ногами субботних мужиков.

— Жили мы хорошо, сами видите. А потом он приходит и говорит, что встретил Люсю. На моционе он её встретил или где ещё, не говорит. Люсю Барсукову встретил, и точка. Говорит, я свой мужской долг исполнил, с тобой потомство на свет привёл, а теперь хочу пожить как человек, для души, на своём уровне.

— Кобель! — ахает Раиса.

— Мне обидно, конечно, до слёз обидно. Он меня утешает, говорит, квартира мне достанется, он к этой Люсе уйдёт, у неё своя.

— Ну, это ещё ничего, по-божески, — ворчит Валя.

— А потом уже приходят вместе с Люсей, она ему пришла рубашечки уложить, чтоб не помялись, на меня не понадеялась. Смотрю — такая же пенсионерка, как я, только разговаривает как мой Пётр Иванович, тоже, видать, из института. Ну и похудее, конечно, поинтереснее. Я им тогда даю неделю на сборы, а сама, говорю, к сестре в Подкаменную поеду, поживу там. Иначе, думаю, как начнут ходить — всю душу вынут. А так — вот вам неделя. И я уехала. У меня там сестра родная. Хорошо с ней ладим, может, потому что рядом не живём. Сестра такого поворота в моей жизни на старости лет не ожидала, конечно.

— Седина в бороду — бес в ребро, — комментирует больная с первой от входа кровати.

— Сестра мне подсказывает: «А ты сходи к бабке Панке, она блядей ой не любит, она его мигом отворотит. Когда мой загулял, я сразу к бабке Панке побежала, так она ему мигом оглобли поворотила, и третьего потом ещё успели родить, Сашку». Бабка Панка — это ведьма у нас в Подкаменной, старая, в прошлом году умерла. Сыновья ей крышу разбирали, чтоб она отойти смогла. Ведьма не умрёт, пока крышу ей не разберут, такая у неё душа тяжёлая. Мой Пётр Иванович всегда повторял, что суеверия действуют только на суеверных людей. Ну, мне и интересно стало, подействуют ли они на учёных из института. Иду к бабке Панке, ей тогда точно не меньше девяноста лет было. Она из ссыльных, бандеровка какая-то. Чудно так говорит. Спрашивает меня бабка Панка, принесла ли ей фотографию бляди, а у меня нету. Бабка Панка давай меня ругать, почему я плохо подготовилась, потом говорит: ну давай словами опиши и имя-фамилию назови. Я описываю: среднего роста, худая, глаза серые, волосы седые, — а бабка Панка ещё, ещё требует. Вспомнила что только смогла и имя назвала: Людмила Барсукова. Я говорю, а бабка Панка на палец нитку чёрную быстро-быстро мотает. Потом дала мне эту нитку и велела Люсе под ноги бросить. Я собрала бумажки, что Пётр Иванович забыл, позвонила, договорились, что заеду к ним на минутку. Там, прямо в прихожке, Люсе на тапок эту нитку и сбросила. Держите суеверие моё! Прошло так с полгода, звонит Пётр Иванович в расстройстве, прямо даже в слезах. У Люси рак матки! Я интересуюсь, чего он мне звонит, а он отвечает, что я ему родной человек и больше ему звонить некому.

— Ага, родной человек сразу! — ликует Валентина.

— Я испугалась, ведь я такого совсем не хотела, только проверить хотела. Мучает меня, по сей день этот грех мучает. Как мне теперь с ним умирать?

— Надя, опомнись! — рычит Раиса. — Да при чём тут твоя бабка?! У нас город-то какой! Никаких бабок не надо, каждый второй от рака помирает, ты посмотри, что творится! У нас тут заводы. Утром выйдешь — дышать нечем. Прекрати мне это, Надежда!

Надя тяжело вздыхает и продолжает:

— Операцию ей сделали, удалили всё и с кишками дырку на бок вывели, да уже поздно было. Мы к ней по очереди с Петром Ивановичем в больницу ездили, а потом уже я с нею дома была. Я женщина, мне ловчее было её обмывать. Она терпеливая была; вижу, что моченьки у неё нет, а всё шепчет: «Ничего, Надежда Егоровна, есть ещё резервы». Так и умерла с резервами. Я ей хотела признаться, что мы с Панкой против неё сотворили, покаяться, а потом подумала, что она меня на смех поднимет, скажет что-нибудь про суеверия. Теперь ходим с Петром Ивановичем на кладбище, красим Люсину оградку. Квартиру

её дочка забрала, Люся с Петром Ивановичем так и не расписались. Он ко мне вернулся, обратно на Север.

— На моцион-то ходит? — спрашивает Раиса.

— Ходит. Только теперь уже до моста. Но там сейчас строят много, ему интересно. Придёт и докладывает, сколько этажей подняли да где уже стеклят. Будто нам эти дома строят и нам в них вторую жизнь жить.

— Жизнь только одна! — испускает банальность Валя.

— Ко мне теперь заботливый стал, бережёт меня. Заставлял прививку сделать от клеща, а я не сделала, так он теперь переживает. Мы соседке Семёновой на даче помогаем, у неё муж после инсульта, шахматист-то этот, так вот там я и подцепила. А дача прямо на Садах, в городе.

— Чего только в жизни не бывает! — опять ляпает Валя.

— Да помолчи ты! — рычит Раиса.

Все затихают наконец.

### СНЕГИРЁЧКИ

Валя хвастается, что она похоронила семь организаций. Был совхоз — нет совхоза, был лесхоз — нет лесхоза, пришла в узел связи — закрыли, поступила в заготконтору — ликвидация всей потребкооперации, и так далее. Сейчас Валя на пенсии, но всё ещё работает, свою должность она называет «хожалка по бабушкам», а официально она социальный работник, обслуживающий клиентов на дому. Валя хвастает, что она из каменной породы. Предки её прибыли в Сибирь с Урала, а как прибыли, никто не интересуется. У нас в Сибири своя толерантность. Валя называет подопечных деточками, клиенты Валу любят, хотя она кое-как, «с рук долой», убирает и продукты покупает не по списку, а по собственному настроению. В отличие от клиентов, у начальства есть к Валентине Егоровне претензии, и основная — сплетни. Валя разносит сплетни. Они, конечно, не заразные, но от родственников частенько поступают жалобы. «Какие же это сплетни?! — возмущается Валя. — Это правда святая-пресвятушая!» Зато от клиентов жалоб на сплетни нет. Для «деточек» Валя — окно в мир: от кого ещё им узнать, где горело, кто умер и кто кому с кем изменяет? А пыль пусть себе полежит, да и кто в таком возрасте способен разглядеть пыль или паутину? Калоши под носом и то не видят. О своих клиентах Валя тоже рассказывает первому встречному и не видит в этом никакого греха и нарушения этических норм — все же свои, для Вали каждый встречный в Балайке связан с каждым поперечным. И она это доказывает в два счёта. Пример:

— Кондрашиха-то померла! Как не знаешь?! Её золовка, мужнина сестра, с твоей матерью в КБО работала, швея, поди и тебе шила, мать-то твоя в бухгалтерии тогда сидела! Все у неё заказывали. А твой дед Кондрашиным сено возил, у него хорошее было, так у него всё Заречье покупало, а у бабки твоей Кондрашиха рассаду брала, я твою бабушку помню, на базаре у столовой стояла.

Валин мозг в одно мгновение находит родственные, производственные, геолокационные, бытовые и взаиморасчётные связи между балайцами: то родня, то работали вместе, то дети в один детсад или школу ходили, то жили на одной улице, то покосы рядом, то картошка. Вся Балайка записана на коре Валиного мозга, работающего с невероятной скоростью и точностью на даты, лица и события. Мне думается, стоит допустить Валю в ООН — она мигом объединит человечество.

За свои рассказы Валя взимает оплату ответными баснями. Уж если ты выслушал Валины новости, будь любезен рассчитаться тем же. Она не позволяет отбояриться от неё расхожими уловками вроде «да всё помаленьку», «всё хорошо», «всё по-старому». Гремучие медяки хвастовства о жизненных успехах она тоже не принимает, ей подавая чистое золото страдания — вот это ходовая монета. Правильный ответ должен звучать примерно так:

— И не спрашивайте, Валентина Егоровна! Зрение ухудшается, дети не звонят, не приезжают, у мужа коленки болят, плохо ходит.

Валя, одобрительно кивая, слушает, переводя информацию на свой язык для будущего рассказа, который после трансформации будет выглядеть примерно так:

— Наташка-то Ильина ослепла! Как не знаешь?! Да её все знают. В редакции работает, конечно, работа такая, вредная для зрения. Целый день попиши-ка! Ты, что ли, «сплетницу» не выписываешь? Ну вот, она. А дети и не знают. Да хоть и знали бы, не приехали. Кому нужна слепая мать? А мужик её совсем обезножил, не ходит, коленки отказали. Ну как не знаешь?! Налоги ещё ходил за землю собирал, вот и отказали ноги. Люди-то сколько раз ему желали: «Чтоб у тебя ноги отсохли, ходишь тут со своими квитанциями». А куда денешься, раз такая работа?

Валя шустрой иглой снуёт по Балайке, крепко сшивая восьмитысячный посёлок, как лоскутное одеяло, чтобы всем нам теплее жилось. Она — эритроцит, переносящий не сплетни, а кислород нашей общей балайской крови.

После смерти Кондрашихи за Валею закрепили новую клиентку — бабу Зою с соседней улицы Гагарина, потому мы стали встречаться с Валентиной Егоровной чаще, и чаще замелькала в её новостях баба Зоя. Баба Зоя была новая, а новости были как у старых «деточек»: болезни, пенсию добавили, лекарства дорогие, дров привезли, дрова воруют, огород вспахали, огород посадили. Но последнее известие о бабе Зое было из ряда вон: баба Зоя лежит, не ест, потому что затосковала по снегирёчкам. И у Вали вид был сокрушённый, растерянный: такой болезни, как тоска по снегилям, она ещё не встречала у своих «деточек».

— У неё ранетка в палисаднике под окном росла, — начала Валя историю болезни, — даже на компот не годная, самая мелочь ноготочная

и кислятина. Только и радости от неё, что весной три денька поцветёт да на неделю зимой на неё снегири прилетят обглодать. Этим летом сын приезжал и ранетку срубил. Да ты знаешь его, он с твоим братом троюродным Сашкой учился. Петя! И правильно срубил, палисадник весь зарос, сырость под дом пошла, а Петька на дом рассчитывает, ему достанется, вот он и принял меры. Баба Зоя меня весной просила, чтоб я в палисаднике однолетников сыпанула, да куда там сыпать — бурьян один! Огород-то у неё хороший, соседи заарендовали, он чистый у неё был, я ей одну грядочку там засеиваю, а картошку ей соседи за аренду дают. Не нуждается она. Петя тоже помогает, и вот ранетку срубил, чтоб сырости не было и светлее стало. И ведь она молчала, кивала. А с другой стороны — что тут скажешь? Пока дети малы, ты им мать, а как дети выросли, уже ты им дитё — слушайся. Петя, пока у матери жил, всё шашлыки жарил, говорит, на ранеткиных углях они вкусные. Одноклассники его на Гагарина чуть не каждый день гужевались. Жаль, ваш Сашка помер. Так рано, забыть его не могу, — Валя всхлипывает.

Чтобы Валя не съехала на нашего Сашу, спрашиваю скорее о бабе Зое:

— А когда с нею плохо стало?

— В феврале, в начале, точно помню, — Валя надрывно вздыхает. — Прихожу, а она у окошка сидит в слезах. Я её тормошить: что болит, что за горе? А она говорит, что снегирёчки не прилетели. Раньше об эту пору снегири к ней прилетали, а она их ждала, встречала. И вроде как легче ей становилось: раз снегири прилетели, то и зиме скоро конец. Не любят они зимой помирать, деточки мои, совестятся. Зимой земля мёрзлая, не хотят людей утруждать. Что с ней делать, не знаю. Откуда же взять снегирей, если ранетку срубили? Может, колышек какой вбить и кормушку сделать? У меня дома две таких сорных ранетки, я бы ей ведро насыпала. Ну сил нет смотреть, как она лежит из-за снегирёчков этих! — Валя сокрушённо покачивает головой.

Хоть из каменной она породы, а сердце в ней мягкое, всё понимает.

Марат Валеев

## Рассказы

## КВАДРАТИК

— У-у! — мычал Фёдор Селиванов, раскачиваясь на стуле и держась за щеку. — Ох, будь ты неладен

Дойдя, что называется, до точки, Фёдор выбежал из дома и устремился к трассе, чтобы добраться до райцентра — к стоматологу.

Навстречу ему топал вразвалку крепыш Иван Пудов по прозвищу Квадратик. Хотя его с таким же успехом можно было бы обозвать и Кубиком — вот такая основательная и устойчивая комплекция была у человека.

Пудов работал у нас в деревне кузнецом (что это конкретно за деревня — уточнять, я думаю, не обязательно, таких в нашей стране — тысячи; скажу лишь, что она до сих стоит на славной казахско-российской реке Иртыш), лицо от постоянного соседства с огнём имел багровое, нравом обладал озороватым.

Надо также сказать, что мастером он слыл знатным. Оттягивать лемеха плугов, переключивать бороны, сваривать шины для тележных колёс для него было делом плёвым, рутинным.

Квадратик ещё умел выковывать — для души, как говаривал он, — всякие художественные штучки, управляясь при этом с раскалённым железом так, как будто это было и не железо вовсе, а пластилин.

Он мог выковать кленовый лист, розовый бутон, ещё чёрт знает что. Ну вот, например, у всех в деревне заборы были как заборы: из штакетника, частокола, жердей. А Квадратик больше года мудрил чего-то в кузне и, к изумлению всей деревни, обнёс свой двор ажурной металлической изгородью, а в центре каждого пролёта укрепил выкованный из железа же вензель «ИП» — из начальных букв своих имени и фамилии, на манер экслибриса.

Квадратик неплохо умел варить и электросваркой, но не любил вида швов, поскольку считал их — поди ж ты! — неэстетичными, и когда хотел вложить в своё изделие душу, все стыки, перекрестия сваривал только кузнечным способом.

А для скрепления звеньев своего железного забора склепал хитроумную систему креплений и собрал его как конструктор.

Но если бы кто-то хотел утащить хоть одно звено, фиг ли что у него бы получилось, потому что крепления эти, опять же, замыкались каким-то хитроумным способом.

Голова, одним словом! А заборные ворота и калитка у Квадратика вообще получились настоящим произведением искусства. Там и птички железные рвались в небо, и зверьки какие-то прыгали в стальных куцах.

Когда Квадратик собрал свой забор и покрасил его, вся деревня ходила любоваться, да и всех заезжих гостей водили сюда как на экскурсию.

Забор Квадратика показали даже по областному телевидению, и в передаче этой его назвали художником. Во как!

Ну вот, значит, идёт наш художник по деревне, а навстречу ему Фёдор Селиванов со своим большим зубом.

— Ты чего это скукисился, Селиван? — участливо спросил его Квадратик.

— Зубом маюсь, — простонал Фёдор. — В район вот надо.

— К зубнику, что ли? Так зря — вон Агафониха только что вернулась ни с чем. Нет его. В область зачем-то поехал.

Селиванов облегчённо вздохнул — встреча с врачом, внушающим ему страх даже издалека, откладывалась.

Но проклятому зубу как будто только это и нужно было — он заныл с удвоенной силой. Фёдор даже затряс головой от боли.

Квадратик сочувственно поцокал языком и предложил:

— Хочешь, я тебе помогу?

— А как? — рыдающе спросил Фёдор. — Выбьешь, что ли?

— Зачем? — обиделся кузнец. — Применю народное средство, даже не охнешь. Ну, пошли... Как куда? Ко мне в кузню...

Здесь надо сделать совсем небольшое отступление. Кузня эта раньше была колхозной, потом совхозной, а когда совхоз развалился, перешла в собственность Квадратика.

Потому как никому была не нужна. Всё в совхозе растащили, а вот кузницу не тронули. Не было там ничего ценного, кроме нескольких куч ржавого металла.

Правда, когда началось поветрие повального сбора и сдачи металлолома (разобрали и увезли в райцентр всё, что было железным и похожим на железо), металлоискатели устремили свои взоры и в сторону кузни.

Но Квадратик успел сколотить рядом с кузней дощатый сарай, перетащил туда несколько тонн погнутых и ржавых уголков, прутков, труб и прочего, закрыл всё это богатство под замок и затем громогласно объявил, что если хоть одна сволочь сунется к его металлическому складу, он тому голову расплющит кувалдой.

Вот так вот — запросто положит на наковальню и ахнет со всей дури. А Квадратик силищей обладал невероятной. Потому как начинал он молотобойцем, сразу после армии, ещё в семидесятые годы, и набил себе кувалдой такие мышцы, что куда там всяким Ван Даммам и этим, как их, Шварценеггерам.

А художественной ковке он научился знаете у кого? В тот год у нашей деревни остановился цыганский табор. Эти цветистые,

горластые поселения на колёсах появлялись в наших местах в те времена практически ежегодно.

Они разбивали свои шатры или за селом, или на лугах и активно приступали к своей национальной трудовой деятельности, как то: женщины с детьми попрошайничали, гадали, незаметно таскали кур, которые при этом почему-то никогда не поднимали гвалт, что им полагается по определению, а покорно сидели в складках многочисленных юбок до решения их куриной судьбы.

Было в таборе и двое кудрявых смуглых кузнецов, сверкающих золотозубыми улыбками. Управляющий отделением тут же прикомандировал их к Квадратику, к тому времени оставшемуся в кузнице за главного (пожилой уже кузнец Пахомыч очень сильно заболел, его увезли сначала в районную, а потом в областную больницу, откуда он вернулся уже только на наше деревенское кладбище — рак).

И вот эти двое цыган, не без участия, конечно же, нашего Квадратика, перебрали и заново склепали для полеводческой бригады десятки борон, а попутно выковывали желающим, за небольшую плату, топорики, остроги, цыганские ножи, а самое удивительное — железные розы, и даже с шипами на проволочных стеблях.

Квадратик дневал и ночевал рядом с цыганскими кузнецами, и они таки открыли ему, что называется, «секрет дамасской стали».

И Квадратик — сам! — сначала выковал ромашку, потом — резной кленовый лист, ну а дальше пошло-поехало. Так, благодаря цыганам, наша деревня неожиданно заполучила человека, который управлялся с железом, как стряпуха на кухне с тестом. Даже сноровистее.

Да, о чём же это я? А, вот: долго ли, коротко шли наши друзья, но скоро оказались на месте. В прохладной, с закопчёнными до черноты стенами кузнице Квадратик усадил Фёдора на какой-то чурбак рядом с наковальной, бросил ему на колени моток суровой нитки и приказал:

— Обвяжи-ка большой зуб покрепче... Делай что говорят или вали отсюда!

Фёдор тягуче сплюнул и простонал:

— Коновал хренов. Так я и сам бы смог.

Но подчинился — выбора у него не было. Пока Фёдор, повизгивая и суча ногами, шарился у себя во рту, Квадратик раздул горнило мощными качками мехов и сунул в гудящее пламя обрезок трубы.

Фёдор с обречённым видом следил за приготовлениями кузнеца. Потом беспокойно завозился и спросил:

— Ты чего это, выжигать мне зуб собрался, что ли? А шнур этот — уж не бикфордов ли?

— Помолчи, — отмахнулся Квадратик. — Что я, садист-мазохист какой-нибудь? Я своё дело почти сделал. Теперь всё зависит от тебя... Закрывай глаза, говорят тебе!

Фёдор махнул рукой и крепко зажмурился. Квадратик проворно выбрал слабинку шнура и привязал конец к наковальне.

Затем выхватил щипцами из горнила раскалённый металл, издал нечеловеческий вопль и сунул белый, испускающий искры обрубок трубы под нос широко распахнувшему от ужаса глаза Селиванову.

Тот ошалело откинулся назад:

— Ты чего это, паразит? Да я тебя сейчас...

И пошёл, набычившись, на кузнеца.

— Не слышу «спасибо», — ласково сказал Квадратик, отбрасывая лязгнувшие щипцы.

— Что-о?! — оторопел от такой наглости Селиванов.

И вдруг остановился, осторожно потрогал щёку, повозил за ней языком.

— Хы, а зуба-то нет! И не болит. Когда это ты успел?

— Я-то тут при чём? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Квадратик поднял с пола шнур. На конце его сиротливо покачивался зуб с чёрной дыркой.

— Так выходит, что это его всё-таки я сам выдернул? — изумился Селиванов. — Ну, Ванюша, и хитёр же ты.

— Народное средство! — внушительно сказал Иван Пудов по прозвищу Квадратик. — На, держи на память. Хотя постой, не прячь его пока, а поддержи вот так на весу.

И Квадратик, повозившись в кучке железа, выбрал из неё какую-то большущую гайку, зажал в клещах и сунул в горнило. Через пару минут он аккуратно положил на наковальню раскалённый до белизны кусок металла и, время от времени бросая беглый взгляд на раскачивающийся на шнурке селивановский зуб, затюкал молоточком.

Ещё пять минут, и он сунул уже не белое, а тускло-красное и начинающее покрываться серой окалиной изделие в лоханку с водой, которая тут же забулькала, запарила. Потом Квадратик извлёк из лоханки выкованную им штуковину, обтёр тряпочкой и протянул Селиванову:

— На вот. Хочешь — на шее носи, хочешь — на стенку повесь.

— Ё-моё! — пробормотал Селиванов, взглядываясь в сизую железную штуковину. — Так это же мой зуб! Только раз в десять больше, и даже дупло в нем проделал! Ну ты, Квадратик, и мастер!

— Как учили, — весело ответил Квадратик, вытирая руки о фартук. — Ну, водка-то у тебя дома есть? Пошли, надо бы тебе продезинфицироваться, да и мне стресс снять не мешает...

И они дружно затопали по деревенской улице к дому Селиванова, весьма довольные друг другом и оживлённо болтающие на ходу.

Это только одна пришедшая мне на ум проделка Квадратика, на которые он был так же изобретателен, как и при работе со своими железяками.

А вот теперь нет уже и нашего Квадратика. Умер у себя в кузне в одно мгновение — как раз кому-то чего-то выковывал, в очередной раз занёс над наковальней молоток, как бы задумался на секунду и рухнул на земляной пол. Сердце.

Могилка Квадратика обнесена маленькой копией его знаменитого ажурного забора. Оказывается, он сам загодя её заготовил и жену предупредил: мол, смотри, Мария, если что, то вот там, в сараюшке, стоит разобранный оградка,— за что, конечно, тут же схлопотал от неё.

Нет Квадратика. Но люди его будут помнить ещё долго. Почти в каждом дворе деревни есть его работа: кому ухват выковал, кочергу, скребок для чистки обуви от уличной грязи, кому — лопнувший обушок топора заварил.

У самых уважаемых Квадратиком людей хранятся выкованные им цветы, листочки всякие, птички-зверушки. Всё как настоящее. Только железное. А значит — вечное...

### ДОКТОР ПО ЖЕЛЕЗУ

Из армии на гражданку все возвращаются с какими-то специальностями. Меня в нижнетагильской стройбатовской учебке за полгода выучили на электросварщика, и оставшиеся до дембеля полтора года я варил всякую фигню на сугубо и не очень секретных военных объектах, и домой вернулся с корочкой сварного четвёртого разряда.

Такому спецу в родной деревне обрадовались. Нет, сварщик до меня здесь имелся, но самоучка, и всё, что он ни приваривал, через какое-то время отваливалось. Причём порой в самые неподходящие моменты: то на пахоте, то на сенокосе или там уборке зерновых.

Так что мне не дали отгулять даже мой положенный дембельский месяц, а потащили на работу ровно через пару недель после того, как я повесил свою шинель с чёрными погонами в сенях (потом у меня её выпросил завклубом — для художественной самодеятельности).

Я бы, может, с удовольствием погулял и подольше, но, как назло, бригадир тракторной бригады жил с нами по соседству, у нас даже забор был общим. И Палычу ничего не стоило заглядывать к нам на дню по два-три раза, чтобы справиться о моём самочувствии. Захаживал и управляющий, всё по тому же вопросу.

И вот когда они убедились, что всего через неделю я бросил квасить, а уже всю вкалываю дома по хозяйству (дрова там пилю, в сарае убираюсь), а вечерами трезвый прихожу в клуб, снова надавили на мать с отцом, и те сказали мне:

— Всё, сынок, иди завтра в контору, а то Палыч у нас уже в печёнках сидит.

Ладно, пошёл. Управляющий заставил меня написать заявление о приёме на работу, в тот же день меня свозили на центральную усадьбу на инструктаж по технике безопасности, где я и ещё трое

или четверо сварных подремали на нудной часовой лекции инженера по ТБ, расписались в подsunутом журнале и разъехались по домам. А на следующий день приунывший местный сварной (он же кино-механик по основной работе) сдал мне свои дела.

Так на руках у меня оказались: сварочный цех в ремонтной мастерской с выдавшим виды стационарным трансформатором, маска с треснувшим защитным стеклом, заляпанным брызгами расплавленного металла, килограммов десять разнокалиберных электродов, развешанные на стене низковольтные кабели с «держакoм» и крючком заземления. А ещё и передвижной сварочный аппарат (САК) в агрегате с колёсным трактором «Беларусь». И самое для меня неожиданное — газосварочный аппарат, работающий на ацетилене (карбиде) и кислороде. Газосварке я обучен не был, но из рассказов бывалых сварных знал, что и ацетиленовые, и кислородные баллоны порой взрываются. Почему я и посмотрел на прислонённую к стене парочку синих таких баллонов с опаской.

— Фигня, научись! — злорадно сказал кино-механик, пиная сапогом пустой, с засохшими белыми потёками карбида, ацетиленовый аппарат. — Я же научился.

И, фальшиво что-то насвистывая, ушёл из мастерской. Навсегда. В свою кино-механскую будку. С тех пор Гриша (фамилию его не называю, мужик ещё живее всех живых и сегодня) невзлюбил меня. Потому как получалось, что я, хоть и не специально, оторвал от его семейного бюджета дополнительные девяносто — сто двадцать рублей — больше сварному в тракторной бригаде тогда не платили, хотя на нём и висело целых три аппарата.

Забегая наперёд, скажу, что я, как и мой предшественник Гриша, ежемесячно сам закрывал себе наряды. Вооружался справочником ЕНИР (единые нормы и расценки) и, сопя и пыхтя, азартно выколупывал оттуда подходящие или похожие на то, что я сделал за минувший месяц, работы и «рисовал» себе зарплату. Но расценки были такие дешёвые, что количество сделанных стыков и швов приходилось завышать вдвое-втрое. Однако нормировщики на центральной усадьбе прекрасно знали средние объёмы по всем тракторным бригадам и нещадно резали эти фуфловые наряды. До сих пор не понимаю, за каким чёртом меня надо было держать на сдельщине, когда куда проще было и для меня, и для бухгалтерских мудрил вести расчёты по часовой оплате. Но нет — каждый месяц с меня требовали наряды, и я уже по какому разу «переваривал» на бумаге различные конструкции. И если бы они однажды вдруг материализовались, деревенька моя вся оказалась бы под гигантским куполом, сооружённым мной из арматуры, уголков, тавровых и двутавровых балок.

На самом деле работы у меня было не так чтобы уж много, но и без дела я сидел редко. То меня везли с моим САКом в бычарню, и я торчал там целую неделю, сваривая с помогающим мне в роли

слесаря дядей Лёней Тарелко индивидуальные металлические клетки для большущих и страховидных племенных быков. Те загородки, что были до меня, бычары эти своими огромными мускулистыми жопами и крутыми рогами разнесли в пух и прах. Мы же с дядей Лёней (он вымерял и рубил в кузнице заготовки для клетей) смастерили такие прочные загоны для почти тонных быков, что они под напором огромной силы лишь кое-где выгибались.

Закончив работу здесь, я перебирался в мастерскую — там начинался ремонт сельхозтехники к предстоящим весенним полевым работам. И трактористы тащили мне всякие лопнувшие и треснувшие детали, и я добросовестно заливал эти трещины аккуратными двухтрёхслойными швами — чтобы было с запасом прочности. Однажды даже заварил трещину в чугунной головке блока двигателя МТЗ. Специальных электродов у меня не было, но я плотно наматывал на обычные МР-3 медную проволоку, она вместе с железным сердечником и плавящимся чугуном образовывала пластичный шов, который при остывании не лопался, и заваренное таким образом проблемное место в чугунном корпусе могло ещё неплохо послужить.

Когда основной работы не было, брался за ожидающиеся своей очереди заказы односельчан. Чего они только не несли мне! И лопнувшие топоры, и сломанные тяпки, и развалившиеся детские санки, треснувшие рамы велосипедов и мотоциклов, прохудившиеся железные бочки... Когда возвращал отремонтированную вещь, в благодарность совали мятые рубли, трёшки. Смущался и не брал. Тогда волокли «пузырь». А вот это совсем другое дело — выпить с благодарным заказчиком было никак не зазорно! Хотя и вредно — пьяным я уже варить так чётко, как обычно, не мог, рука не слушалась.

Фу ты, что-то я заболтался! А всё потому, что любил сварное дело. Очень мне нравилось выделывать с железом всё, что хочу. Нет красивее зрелища, чем видеть через тёмный светофильтр фибровой маски, как под шипящей дугой электрода сталь плавится и формируется сначала в белый, почти прозрачный, затем на глазах желтеющий и покрывающийся тёмной окалиной валик остывающего стального шва. Я настолько проникся своей профессией (ещё с армии), что при виде любых тесно стоящих или лежащих металлических уголков, балок, прутьев прикидывал, как лучше заварить тот или этот стык. А в деревне меня стали называть не иначе как «доктор по железу».

Но это я с электросваркой был на «ты». А был у меня на вооружении ещё, как вы помните, и газосварочный аппарат, в котором я был поначалу ни бельмеса. Да у меня, собственно, и разрешения (допуска) к работе на нём не было. Просто вот так вот отдали и сказали: вари, раз ты сварщик. И мало кого волновало, что электросварщик и газосварщик — это не одно и то же. А на газоэлектросварщика вообще надо учиться как в техникуме — целых три, а то и четыре года (это тогда, в семидесятые; сейчас сколько — не знаю). Впрочем, я и не

стал брыкаться. Подумал: а, ладно, освою! Я раздобыл специальное пособие и по нему изучил принцип работы с газом и кислородом. Опасная, доложу я вам, это штукенция. Кислородный баллон лучше не трогать замасленной рукавицей — если вентиль неплотно завёрнут, может рвануть. Грохнуть неслабо может и ацетиленовый аппарат, если в специальный предохранитель не залить водички. И ещё куча всяких других предостережений.

Короче, я старался по возможности обходить стороной этот чёртов агрегат и даже почти жестяной листовой материал приспособился варить электросваркой тоненькими электродиками — двойкой. Но когда приходилось много резать, использовать электроды для этой цели было крайне расточительно. И тогда я, что называется, помолясь, брался за резак. Ну не нравилась мне газосварка, хоть ты лопни. И вонь карбида терпеть не мог, и вздрагивал каждый раз при обратном «хлопке» (это когда искра из горелки вдруг стремительно улетала по шлангу обратно к аппарату и гасла лишь в предохранителе). Тем не менее, пересиливая себя, я отважно резал и сваривал металл ацетиленом, если это было крайне необходимо.

И вот что случилось буквально на второй или третий день после того, как я, с грехом пополам освоив теорию газосварки (признаюсь: ненавижу любую техническую литературу, меня сразу клонит в сон, когда я начинаю читать любую инструкцию), взялся закреплять её на практике. Надо было разрезать большой пук толстенных арматурин на равные куски. Ацетиленовый аппарат стоял у меня в помещении сварочного поста, а кислородный баллон лежал снаружи под стеной, шланг от него был протянут через окно. Я заправил аппарат дозой карбида, завинтил герметичную крышку, стрелка датчика давления дрогнула и поползла вверх. Газ (ацетилен) появился! Теперь дело за кислородом.

Сбежал на улицу, открыл вентиль кислородного баллона. Чёрный резиновый шланг, уползающий в окно мастерской, дрогнул и даже немного натужился. Так, и тут порядок! Эге, да я ещё тот мастер! Всё у меня получается как надо! И я, насвистывая, независимой рабочей походкой вернулся в мастерскую. Здесь, в основном зале, стояли на ремонте пара полураскиданных гусеничных дэтешек (мотор одного из них висел на цепях тали) и один скособочившийся из-за снятого заднего колеса МТЗ-50. Мужики колдовали у техники, позвякивая гаечными ключами и негромко переговариваясь.

Я прошёл в свой сварочный цех, мелом разметил места разрезов на арматуре, от спички зажёл небольшую струйку газа, выбивающуюся из резака, потом добавил кислорода, снова довернул газа, опять — кислорода. И когда из сопла резака стала с громким шипением выбиваться длинная и почти белая от накала кинжальная струя огня, направил её острый конец на край намеченного разреза. Несколько секунд — и арматурина нагрелась и «заплакала» расплавленным металлом.

Я ещё добавил кислорода, он со свистом стал выдувать этот жидкий металл, ударяющийся о закопчённую стену цеха и жёлтыми звёздами рассыпающийся по земляному полу. Искры летели мне и за неплотно расстёгнутый ворот рубы, залетали и за голенища сапог, прилипали к стёклам очков, но я, весь охваченный восторгом своего успешного единоборства с металлом, ничего вокруг не замечал. А отрезал очередной прут и двигался дальше, подтягивая за собой шланги, отрезал и двигался. Эх, да мне бы сейчас и сам Гефест позавидовал, увидь он, как ловко я управляюсь с огнём и металлом!

Но длился этот трудовой экстаз недолго. Внезапно я услышал за спиной сильный хлопок и последовавшее за ним яростное шипенье и глухие удары и шлепки. Я оглянулся, ничего не понимая, и остолбенел. Примерно в паре метров от резака кислородный шлаг перервало пополам! И тот конец шланга, который тянулся из окна от баллона, с разбойничьим свистом и шипением, как живой, мотался под давлением кислорода по мастерской, испуская снопы пламени и искр и хлеща напропалую по всему, что попадалось ему на пути: по стенам, потолку, разлетающимся в стороны кускам арматуры на земляном полу.

Я сразу же понял, что произошло. Разрезав арматуру, я шагал дальше и тащил за собой шланги. И не обратил внимания, что однажды он улёгся точнёхонько на ещё красное, не остывшее место разреза и перегорел. А вырвавшийся наружу через дыру кислород раздул этот огонь и довершил дело, окончательно разорвав шланг. И он стал вертеться по цеху под давлением, разгораясь всё больше. Вот этот чёрный огнедышащий змей уже летит и в мою сторону. Я резко нагнулся, накрыв голову руками, и кинулся к выходу. Но конец шланга всё же настиг меня в дверях и наотмашь хлестнул по горбу.

Я выскочил в ремонтный зал мастерской в снопе искр и в облаке дыма, как чудом вырвавшийся из преисподней грешник, а в дверном проёме за моей спиной с шипеньем мотался злобный, плюющийся огнём шланг, пытаясь ещё раз достать меня.

Все, кто был в мастерской (а было там человек шесть, не считая тех, кто торчал в это время в курилке и резался в домино), бросили свои дела и с испугом уставились на меня.

У меня же в голове в это время была одна доминанта: надо всех спасать! Я же бросил работающий резак, а его, может, уже прибило к ацетиленовому аппарату. Кроме того, может рвануть и кислородный баллон. Короче, караул!

— Мужики-и! — заорал я. — Все на улицу! Щас рванёт на фиг!

Мужиков долго уговаривать не пришлось. Лучшим подтверждением моей угрозе был виден через открытую дверь сварочного цеха беспорядочно мечущийся там шланг, из горящего конца которого, как из сопла, с шипением вырывались струи пламени.

Ближе всех к небольшой двери, вделанной в глухие ворота для заезда техники, оказались грузный тракторист дядя Паша Горн

и худенький мастер-наладчик дядя Витя Бондаренко. Они-то и ринулись первыми спасать свои жизни. Но, вбив свои тела в узкий дверной проём одновременно, наглухо застряли в нём и отрезали путь к отступлению остальным, в том числе и мне.

А жить, братцы, очень хотелось! И я кинулся отдирать засовы, чтобы распахнуть сами ворота. Мне помогал, судорожно пыхтя, мой сосед Вася Чобану. Но засовы непонятно каким образом заело, и ворота не хотели распахиваться. И тогда Вася, имевший крепкую комплекцию, отбежал назад и, выставив вперёд плечо, бросился на закупоривших дверь и жутко матерящихся от страха Горна и Бондаренко. Он вышиб их с одного удара, как лихой гуляка пробку из бутылки, и путь к спасению был открыт. Все мужики высыпали из мастерской наружу и, отбежав от неё на всякий случай ещё метров с десяток, стали ждать, когда же, наконец, рванёт.

— Ну ты, блин, учудил! — гудел мне в ухо Вася Чобану. — А если мастерская развалится, где мы будем тракторы чинить?

— А пусть развалится, — сипел мне в другое ухо дядя Витя Бондаренко. — Можя, тогда совхоз новую построит. А это же сарай, а не мастерская...

Я уныло кивал им обоим, проворачивая в уме последствия надвигающейся катастрофы. Ландо, если просто уволят. А если заставят выплачивать ущерб? Это ж какие деньжищи!

— Ну и чего вы тут столпились?

Это нас всех вместе спросил только что подъехавший на бортовом ГАЗ-51 вернувшийся с центральной усадьбы с запчастями наш механик Пётр Тимофеевич Маскаев. Он был старше меня всего лет на десять, но выглядел и вёл себя так, будто ему все пятьдесят. И ещё этот человек всё умел и знал. Ко мне Пётр Тимофеевич сначала относился настороженно. Особенно после того, как я, осваивая езду на тракторе МТЗ с САКом в прицепе, перепутал педаль тормоза с газом и наехал во дворе ремонтной мастерской на только что отремонтированную селялку, погнув её во всевозможных местах. Но когда со временем увидел, какой я такой весь из себя старательный как сварщик, почти зауважал. — Вон у своего сварного спроси, — тут же мстительно съябедничал дядя Паша Горн, потирая ушибленный Васей Чобану бок.

— Ну? — уставился на меня своими серыми холодными глазами механик.

Спотыкаясь, я как можно короче изложил суть проблемы. Механик хмыкнул и, мотнув головой (дескать, дуй за мной), быстро пошёл туда, где под стеной мастерской лежал кислородный баллон. В моём цеху была два застеклённых окна. Теперь стёкол не осталось ни в одном — все были выбиты разбушевавшимся концом оборванного шланга. Он и сейчас продолжал хлестать по стенам помещения, разбрызгивая огненные искры. Само помещение цеха не загорелось только потому, что было выложено из саманных кирпичей.

Пётр Тимофеевич подбежал к кислородному баллону и... завинтил вентиль подачи кислорода. Шланг там, за стеной, что-то ещё прошипел недовольно и безвольно опал, выдыхая из своего опалённого обрубка остатки искр и дыма.

— Сам-то чё, не догадался? — буркнул мне механик. — Такой переполох устроил, понимаешь ли. Иди давай, устраняй последствия.

Сказать, что я был сконфужен, — значит, ничего не сказать. Я был раздавлен. И, пряча глаза от натягивающих на свои, только что бывшие испуганными и растерянными, рожи ехидные и насмешливые маски механизаторов, рванул в цех.

Там жутко воняло горелой резиной и карбидом. Но как раз наступило время обеденного перерыва, все мужики ушли по домам подкрепиться, щедро насовав мне по пути всяческих приятных пожеланий. А я остался на работе и устроил в мастерской грандиозный сквозняк, распахнув настежь все ворота и двери, какие только были. Этот мартовский весенний день, как по заказу, выдался очень ветреным, и уже через полчаса вонь выветрилась.

Разбитые стёкла в окнах мне заменил наш плотник Яков Панкратыч, которому я недавно сварил металлические ворота для его двора за символическую плату — литр водки. Ну а с порванным кислородным шлангом разобрался сам — выкинул тот кусок, который оставался на резаке, заново насадив на него шестиметровый остаток. Правда, для симметрии пришлось укорачивать и шланг от ацетиленового баллона, но на такую мелочь можно было и не обращать внимания. Главное, что никто не взорвался, ничто не рухнуло и никого не угробило. И с работы меня не турнули. Правда, вскоре я сам с неё ушёл. Меня взяли в штат нашей районной газеты, куда я после армии начал пописывать заметки и рассказы. Но перед этим...

На полевом стане (была уборка) ко мне подъехал мой одноклассник, Колька Кубышев, тоже недавно вернувшийся из армии и работавший шофёром. Он попросил нагреть некоторые гайки крепления на паре колёс его грузовика. Колян дали новую резину на замену уже практически лысой, но он никак не мог снять колёса для разбортирования, потому что гайки на них намертво приржавели к болтам. А вот эта хитрость — нагревание проблемных мест газовой горелкой — очень хорошо помогала в таких ситуациях. Гайки расширились и легко потом отвинчивались.

— Ну, пошли, — сказал я Колян и направился к стоящему под навесом уже несколько дней без дела газосварочному аппарату.

Туда же Колян подогнал и свой «газик». Я сыпнул в аппарат карбиду, налил воды. Пока менял резак на горелку, аппарат уже выдал ацетилен. И процесс пошёл. Я прогрел две неподдающиеся гайки с одной стороны грузовика, Колян их тут же сноровисто отвинтил накидным ключом. Подтащив шланги на другую сторону машины, я стал спичками «прикуривать» потухшую горелку. И вдруг услышал

знакомый негромкий хлопок — это сработала обратная искра. Я ещё не успел вспомнить, залил ли воду в предохранитель, как с той стороны грузовика, где остался аппарат, раздался оглушительный взрыв.

«Ага! — подумал я. — Забыл-таки...»

Одновременно с этим снизошедшим на меня озарением кто-то со страшной силой вырвал у меня из руки латунную горелку, и она, сверкая на солнце, унеслась вверх вслед за шлангами. А те, в свою очередь, потянулись за взмывшим в синюю небесную высь цилиндром ацетиленового аппарата, из дна которого валил чёрный густой дым.

Он взлетел, в общем-то, невысоко — метров, может быть, на двадцать — двадцать пять. И, лениво кувыркнувшись там пару раз и обмотав себя чёрными шлангами, полетел обратно вниз. Прямо на нас с Коляном. Мы с ним стояли в это время у машины, задрав головы и разинув рты. И едва успели отскочить в разные стороны, как аппарат с грохотом свалился прямо в кузов. Послышался треск досок.

— Мля-я! — проныл Колян. — Он мне кузов проломил!

Да ну, кузов. Всего-то пару досок, которые Колян потом заменил за каких-нибудь полчаса. А вот у аппарата оказалось напрочь вырванным днище, так что пришлось его выкидывать. И опять я отделался лёгким испугом. Наверное, всё по тому же объективному случаю — в штате тракторной бригады я продолжал числиться как электросварщик, а никак не газосварщик. Так что официально мне претензий предъявить было нельзя. А кроме того, в резерве у бригады был ещё один газосварочный аппарат, правда, более громоздкий и устаревшей конструкции.

Но возрождал его к жизни уже не я. И думаю, что это было к лучшему...

## НОЧНОЙ ПЕРЕКУС

Погода в нашу вторую смену сегодня выдалась морозной, на первом полигоне завода ЖБИ всё густо парило: и самосвалы, подвозящие бетон, и сам бетон, не успевший остыть после подвоза его с бетонного узла. А запарочные камеры, куда устанавливались заливаемые бетоном марки 100-й формы под фундаментные блоки СП, так те вообще были покрыты густо клубящимся белым паром, поэтому приходилось даже включать дополнительные прожектора, чтобы крановщица, белокурая Люся, которую сегодня вообще было не разглядеть на её верхотуре, без промашки подавала «туфлю» с бетоном прямо к рукам бетонщика пятого разряда дяди Вани Тучкова.

Он хватался этими руками в верхонках поверх тёплых рукавиц за отполированную до блеска рукоятку замка «туфли», сипло кричал Люсе наверх: «Ещё чуток на меня!» — и, широко расставив ноги в серых валенках по краям маслянисто поблёскивающих ячеек стальной формы, с коротким хеканьем дёргал рукоятку замка на себя и вниз.

Жидкий бетон серой лентой с шумом устремлялся в форму, дробно стучал по её стенкам мелкой щебёнкой.

Дядя Ваня затем на несколько секунд включал прикреплённый к «туфле» вибратор, и тот начинал с сердитым гулом мелко-мелко трясти «туфлю», вытряхивая из неё остатки бетона.

Тут за дело брался я, семнадцатилетний бетонщик пока третьего разряда: с чмоканьем погружал в серую массу ручной вибратор весом с полпуда, включал его и, держась за рукоятку, уплотнял этим зудящим, старающимся вырваться из моих рук механизмом расползающийся по ячейкам формы бетон.

Наш «бугор», по совместительству мой дядя Равиль (его называли на русский манер почему-то Саша), в это время армировал деревянные формы для колонн, периодически сверкая голубым огоньком электросварки. Это была сложная работа, и занимался ею только он сам.

Но вот все три тонны бетона разлиты по формам, утрамбованы и разглажены сверху до блеска, из них торчат свежестановленные петли из толстой проволоки для выемки краном после того, как блоки будут сутки пропарены и готовы к отправке на стройки красно-турьинских объектов.

На полигоне стало тихо, и можно перекурить в просторной столовке, где готовятся деревянные детали для опалубки форм. Здесь можно погреться — пощёлкивающие трубы парового отопления всегда держат в столовке высокую температуру, — перекусить у кого что есть с собой, поиграть в теннис.

Сухо стучащим пластмассовым белым шариком сразу же стали перекидываться через сетку стропальщик Коля Овсянников и электрик Юрий Шервуд. А мы с дядей сидели — он на лавке, я на широком подоконнике, — с наслаждением курили и отогревались. И тут даже через табачный дым мои ноздри защекотал знакомый дразнящий аромат — чеснока, укропа и ещё чего-то невероятно вкусного и сытного.

Сало! Это было сало домашнего посола. Его, небольшой такой, но толстенький брусок, пошуршав газетой, разложил у себя на верстаке столяр Михаил Колодный и стал нарезать большим складным ножом на аккуратные белые, чуть-чуть розоватые пластинки.

Мне до конца вечерней смены оставалось часа полтора — несовершеннолетнему по КЗОТу разрешалось работать только до десяти вечера, смена при этом у меня начиналась в три часа дня, в то время как вся «взрослая бригада» подтягивалась к пяти. И вроде бы перед выездом на завод я неплохо пообедал в столовой рядом с нашей общагой, но довольно тяжёлая работа на морозе быстро сжигала все калории, и потому я был уже зверски голоден.

Дома, в общежитской комнате, меня в лучшем случае ждала припасённая на ужин банка кильки с полбулкой хлеба. А в худшем — если жившие со мной ещё двое парней затеяли выпивку без меня, то нашли эту несчастную кильку в моей тумбочке и уже сожрали её.

А тут этот невозможно аппетитный, прямо с ума сводящий запах. И без того тогда плоский, мой живот тут же свело от голодных спазмов, он самым бессовестным образом громко заурчал и прилип к позвоночнику, показывая хозяину, что пора бы и того... что-нибудь кинуть в него существенного.

Я поспешно затянулся «Примой» и с деланным равнодушием отвернулся к промёрзшему окну, за которым стояла трескучая морозная уральская ночь, и туманную темень её с трудом рассеивали мощные светильники и прожектора, которыми был утыкан наш первый полигон со всех углов и с крыши столярки.

Мне вдруг, ну совсем некстати, вспомнились мамины горячие и румяные пирожки с картошкой и жареным луком, которые я так любил запивать холодным вкусным молоком. Желудок мой вовсе взбесился, застонал и стал вгрызаться в позвоночник.

— На, перекуси, — услышал я вдруг участливый голос столяра дяди Миши и живо обернулся.

Столяр принёс мне ломоть хлеба с выложенным поверху солидным пластом сала, дразнящий аромат которого поблизости и вовсе оказался сумасшедшим!

— Тёща из деревни гостинец прислала, — пояснил Михаил Колодный, обращаясь не столько ко мне, сколько ко всем отогревающимся в столярке членам бригады. — Кабаняку они закололи, аж на полтора центнера весом. Сала на нём, слышь, — с ладонь толщиной! Вот и передали нам килограмма три. Никто так не умеет солить сало, как мой тесть с тещей. Давай ешь, набирайся сил.

Я, для солидности выдержав секундную паузу, положил на подоконник недокуренную сигарету и, вытерев правую ладонь о ватные штаны, бережно принял этот сельский бутерброд, поднёс ко рту. Сало не стало сопротивляться натиску моих молодых нетерпеливых зубов и легко откусилось вместе с хлебом.

Мой язык, моё небо тут же ощутили божественный вкус этой жирной, в меру просоленной и начесоченной массы, пропитанной ароматом лаврушки, сохранившего летний запах укропа, перца и ещё какой-то специи — сейчас я понимаю, что это был тмин. Всё это создавало непередаваемый вкусовой букет, вызывающий мощную реакцию слюнных желёз.

Прижмуривав глаза от удовольствия, я проглотил первую порцию этого деликатеса и только тут обратил внимание, что в столярке стояла тишина, нарушаемая лишь пощёлкиванием пара в трубах парового отопления: оказывается, дядя Миша уже успел раздать бутерброды с салом всем, кто был в столярке (с ним — человек пять-шесть), и все дружно уплетали их, в том числе и наш бригадир, мой дядя Равиль-абый...

Всё, всё, на этом прекращаю дразнить тех, кто на диете, и тех, кто вообще не ест сала. К последним вроде бы должен относиться и сам автор текста.

Но я, татарин, выросший среди русских, можно сказать, с детских лет познал вкус свинины.

В прииртышском селе Пятерьжск, где мы поселились после переезда из Татарстана, практически не было такой семьи, в которой бы не содержали свиней. Всеядность этих животных, облегчающих проблему кормления, быстрый рост (начав откорм поросят с ранней весны, к началу зимы уже получаешь взрослых, весом нередко за сто кило, свиней), хорошие гастрономические свойства мяса и сала — это те плюсы, которые издавна подвигают сельчан на занятие домашним свиноводством.

Глядя на русских (украинцев, немцев, белорусов и так далее) и оценив выгоды разведения свиней, с годами это дело стали с охотой осваивать и «басурманы», живущие среди славян. У нас в подворье была полная толерантность в отношении ассортимента домашних животных: в закутках блеяли овцы и мемекали козы, мычали коровы и телята, мирно похрюкивали в своём свинарнике пухнувшие, как на дрожжах, поросята, я уж не говорю о курах и утках.

Летом мясо нам на стол «поставляли» куры и изредка — овцы, телят обычно выращивали на сдачу в «Заготскот», и это приносило ощутимую прибавку в семейный бюджет. Ну а запасы мяса на зиму давали именно свиньи. В пятидесятые-шестидесятые холодильников у сельчан не было, поэтому свинина замораживалась в холодном чулане, сало засаливалось впрок в деревянных ящиках и, отправленное с приходом тёплых дней в подпол, могло держаться там хоть всё лето, до очередного забоя очередной бедной хрюшки (ну что поделать, такова уж их судьба) на следующую зиму.

Единственной, кто не употреблял свинину в нашей семье, была мама.

Но она понимала, что троих пацанов, дочь и нашего отца, всегда занятого тяжёлой физической работой в совхозе, надо было чем-то кормить. И хоть сама не ела свинину, но для нас готовила. Суп или борщ на свином мясе, правда, могла похлевать, но наливала его себе без мяса. Когда дома появлялась колбаса — а это случалось довольно редко, — мама не могла себе отказать в удовольствии полакомиться ей. Но всегда выковыривала из своих колбасных кружочков кусочки сала, во избежание, как она полагала, греха.

И это нас забавляло: колбасная масса в любом случае содержала в себе какую-то долю свинины.

Став взрослым и самостоятельным и, следовательно, получив возможность общаться с людьми не только из своей деревни, я видел, что свинину и сало с удовольствием едят и многие молодые казахи, хотя свиней при этом могли и не держать. А русские, в свою очередь, если попадали в гости к казахам, не чурались бесбармака из конины, вкуснейшей конской колбасы казы.

И это правильно, это и есть взаимопроникновение национальных культур на основе обмена кухнями, это позволяет людям лучше узнавать и понимать друг друга.

Я с уважением отношусь к людям, придерживающимся религиозных норм и правил и потому отказывающимся от нехалальной, некошерной пищи — это их выбор, их образ жизни. Но и не осуждаю тех, кто, вопреки убеждениям далёких предков, стал употреблять в пищу то, что когда-то считалось запретным, — времена-то меняются, условия жизни тоже, и то, что считалось когда-то догмой, становится простым пережитком, предубеждением.

Как на мой взгляд, так есть можно всё, что нравится, что хочется попробовать (я вон уже лягушек отведал, и крокодилятину, страусятину, и даже акулу жареную ел!).

Главное, друзья мои, — не «ешьте» себе подобных! Вот это грех из грехов, ничем не оправдываемый. . .

Эк куда меня занесло, однако! На чём же это я споткнулся и пустился затем в невнятные рассуждения?

Ах да! Перекусив бутербродами с салом, наша бригада затем с новыми силами вышла на тридцатиградусный мороз — встречать очередную порцию бетона — и задорно, с шутками и прибаутками, залила его в формы, накрыла крышкой запарочную камеру и успешно завершила свою смену. Хороший перекус — он любому делу великое подспорье!

Андрей Пучков

## Кровь и крапива

Деревня казалась вымершей. Тишина стояла ненормальная, и это меня напрягало. Очень напрягало. Даже петухов слышно не было! То ли съели их всех, то ли они, несмотря на свою дурость, сами попрятались от греха подальше. За четыре года войны я уже привык к постоянному грохоту, и если он вдруг прекращался, значит, надо ждать беды. Значит, фрицы что-то придумали!

Я опустил бинокль и задумался. Эта деревня и на деревню-то похожа не была. Этаким городок в миниатюре, где маленькие домики идеально ровно выстроились вдоль дороги. Возле каждого дома палисадничек с оградкой, высотой до колена, через жёрдочки которой перевешивается давно некошенная сухая трава. Да и сами дома без присмотра, как оспой, покрылись пятнами от обвалившейся краски. Некому стало следить за их внешним видом — война сказала. Невозможно от войны уберечься, отойти в сторонку и переждать. Везде она достанет и возьмёт своё, столько возьмёт, сколько ей потребуется.

Название у этой деревушки было странное — Wippensee, или, если по-нашему, — Озеро. Странное в том смысле, что ближайший водоём, согласно карте, находился от неё в двадцати километрах. И то это была небольшая речка. Непонятно, при чём тут озеро?

Но самыми необычными мне казались заасфальтированные улицы. Ладно бы если это одна такая деревня была. Так нет же, много таких, кукольных и аккуратных. Не первый день на германской земле воюем, успел уже кое-что посмотреть и сравнить. Наши «мягкие» деревенские дороги явно проигрывали германским. Но я бы сейчас многое отдал за то, чтобы скинуть сапоги и босыми ногами ступить на разбухшую после дождя пашню. Почувствовать, как при каждом шаге между пальцами ног протискиваются жирные чёрные червяки чернозёма... — Почему вперёд не идём? Почему застряли здесь? — подошёл ко мне замполит батальона майор Рябов и, оглянувшись на укрывшихся за деревьями бойцов, повторил: — Почему вперёд не идём? Ждём чего?

— Не нравится мне здесь, товарищ майор! Тихо уж больно...

— Да плевать я хотел на твою тишину, — вызверился вдруг майор. — Командуй взводу вперёд! Какого чёрта тебе ещё надо?!

Я посмотрел в узкое, покрывшееся красными пятнами лицо замполита и, встретившись взглядом с его блеснувшими под козырьком фуражки глазами, отвернулся.

Невозможно было выдержать его взгляд: глаза были мёртвыми, тёмные провалы — и всё, жизни в них ноль. Сам вроде психует, а глаза — без проявления каких-либо эмоций. Я знал всех своих бойцов, с самого начала войны они были со мной. Многих ребят, конечно, потерял, но я уже с одного взгляда научился определять состояние человека и что можно от него ожидать. Что ждать от майора в его нынешнем состоянии, было непонятно.

Срываться он начал год назад, когда ему сообщили, что вся его семья погибла под одной авиабомбой. Вся! Одним махом. Родители, жена, двое сыновей. После этого он стал нервным, психованным, часто повышал голос, и руки у него стали заметно подрагивать. Он знал об этом и прятал их за спину.

— Подождём ещё, понаблюдаем, послушаем, — спокойно ответил я и, опять мельком глянув в лицо замполиту, примиряющим тоном закончил: — Ещё надо подождать на всякий случай, а потом и зайдём. С двух сторон зайдём...

— И так видно, что немцев в деревне нет! — рыкнул майор и, зло сплюнув, сел на землю, привалившись спиной к дереву.

— В этой деревне все немцы, — пробормотал я и опять поднёс к глазам бинокль.

Замполит оказался привязанным к моему взводу случайно. Можно сказать, что оказался не в том месте и не в то время. А может, и наоборот, именно с нами он и должен был оказаться — кто знает?

Наш полк получил приказ окружить небольшой городок, в котором, по данным разведки, укрылись полторы сотни фрицев, да и те находились в состоянии, близком к панике, и были готовы к сдаче. В связи с этим замполит и обходил вверенные его политической заботе подразделения.

Разведка опростоволосилась! Но, как я подозреваю, никто уже глубоко и не копал. Не то это было место, чтобы тратить на него время и силы. Так, поверхностно прошлись, обнаружили наличие кое-каких войск и, решив, что одного полка будет более чем достаточно, откомандировали нас на зачистку. Немалую роль, конечно, сыграло то, что война уже неделю как закончилась и фрицы не могли не понимать, что они обречены.

Получили мы конкретно! Сначала прямо из города, с улиц, по нам ударили из крупнокалиберных пушек, укрытых за дощатыми щитами. Издалека, если смотреть, домик как домик, потом щиты падают, и начинается!.. А затем, когда, по-видимому, у них кончился боезапас, при поддержке нескольких «тигров» на прорыв ломанулись хорошо вооружённые и не помышлявшие о сдаче эсэсовцы.

Удар пришёлся аккурат между позициями двух взводов, и мне, чтобы сохранить людей, пришлось дать им дорогу, отведя взвод в сторону. Благо, что сразу после этого пришёл приказ — не пытаться фрицев удерживать, а выпустить из кольца и дать уйти. Мол, чёрт с ними,

потом добьём, куда они не денутся. Слава Богу, научились уже людей беречь, не то что, помнится, в начале войны.

Фашистов оказалось на удивление много, и чем шире становился клин, тем дальше мне приходилось отводить взвод, в котором волею войны оказался и замполит батальона, прибывший с разъяснением текущего момента.

Время шло, всё было спокойно, засиживаться здесь было не в наших интересах. Но и обойти деревню стороной я не мог: а ну как в ней тоже войска окажутся? Ударят нам в тыл — беда будет! Откатились мы недалеко, километров на пять, не больше.

Пора! Аккуратно уложив бинокль в футляр, я оглянулся и, зная, что старшина обязательно будет где-то рядом, негромко позвал: — Семашко!..

— Я, товарищ капитан! — высунулся из-за соседней сосны командир первого отделения и, оглянувшись, поправил сбившуюся на затылок пилотку.

— Вместе с отделением поступаешь в распоряжение майора. Обойдётся посёлок лесом и пощупаете, что там с другой стороны. На рожон не лезьте, действуйте аккуратно и тихо, если что, сразу отходите!

— Ясно, товарищ капитан! — кивнул старшина и посмотрел на сидящего под деревом замполита.

Тот, словно не слыша нашего разговора, отрешённо глядел прямо перед собой и рвал траву. Захватывал пальцами по несколько травинок, отрывал их и бросал, и так раз за разом — отрывал и бросал, отрывал и бросал.

— Товарищ майор! — повысил я голос. — Вы как, остаётесь со мной или с отделением идёте в обход деревни?

Тот молча поднялся, отряхнул руки, одёрнул гимнастёрку, привычным движением поправил выдавшую виды фуражку с помятым козырьком, а потом сказал:

— С отделением, — и, не оглядываясь на потянувшихся следом за ним бойцов, скорым шагом направился в лес.

— Приглядывай там за ним, — понизив голос, попросил я старшину, — не нравится мне его состояние, как бы чего не натворил!

Старшина кивнул и, перебросив автомат с груди за спину, побежал за скрывшимся за деревьями замполитом.

Я посмотрел им вслед и вздохнул. Майор был смелым воином, в тылах не отсиживался, за спины солдат не прятался. Не один раз бойцов в атаку поднимал. Не зря же на его гимнастёрке красуются орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Да и к бойцам он относится по-человечески. Даже свой командирский паёк никогда сам не получал, распорядился, чтобы его сразу же передавали в окопы.

Уничтожает война людей. Не только жизни у них забирает, но и души выжигает. Обугливаются людские души, перестают жизнь чувствовать. Умирают. Так посмотришь — вроде человек как человек:

ест, пьёт, спит — всё как обычно. Приглядишься повнимательней — понимаешь, что выгорел человек, ушёл из нашей жизни, чужим стал.

Подождав ещё минут тридцать, обернулся к своим бойцам и негромко скомандовал:

— Вперёд!

Мы уже минут сорок шерстили деревню. Заходили в каждый дом и осматривали его. Жителей на удивление было много! Но среди них взрослых мужчин не было, только женщины, дети и старики. Они, как правило, собирались все вместе в одной комнате и с ужасом наблюдали за обыскивающими дом бойцами.

По всей вероятности, люди перебравлись сюда из городов. Спасался народ от боёв, пришедших вместе с войной и уничтожающих всё на своём пути, не разбирая, казарма это или жилой дом, блиндаж или школа.

Время шло, и я всё больше и больше убеждался в том, что, кроме гражданских лиц, в деревне никого нет. Бойцы расслабились, перестали осторожничать и уже спокойно, не опасаясь нападения, ходили по улицам. В результате чего и нарвались.

В тишине, как одеялом накрывшей посёлок, одиночный выстрел прозвучал резко и хлётко, как переломленная сухая ветка. Шедший передо мной пожилой боец, которого все называли по отчеству — Макарычем, схватился за плечо и резво скаканул в ближайший палисадник, под прикрытие дома.

— В укрытие! Все с улицы! — заорал я и сиганул следом за Макарычем, который привалился спиной к стене дома и матерился, зажимая ладонью рану на левом плече.

— Гриша! Давай сюда, — позвал я молодого, прибывшего два месяца назад с последним пополнением бойца. — Помоги перевязаться деду и оставайся пока вместе с ним, а мы посмотрим, кто это нам решил так нагадить!

И, обернувшись к бойцам, прижавшимся к стенам домов, приказал: — Никому не вылезать, пока со стрелком не разберёмся!

Осмотрелся и, заметив воевавшего со мной с самого начала ефрейтора Потапенко, сказал:

— Надо узнать, откуда этот гад бьёт.

— Не надо! Я успел заметить, — перебравшись ко мне поближе, усмехнулся ефрейтор.

Он выглянул из-за угла дома и, быстро отпрянув назад, удовлетворённо кивнул головой:

— Ну точно, с чердака дома лупит! С соседней улицы. Аккурат между двух домов ему дед и попался. Он, кстати, как дурак, в чердачном окошке маячит... можно снять!

— Желательно бы его живым взять. По возможности, конечно, — не согласился я. — Язык в нашем положении не помешает, а то ничего

об окружающей обстановке не знаем! Но не геройствуйте там... чуть что, валите его к чертям!

Ефрейтор кивнул, прихватил ещё троих бойцов и, обойдя дом с другой стороны, скрылся во дворе.

Как только бойцы ушли, я надел на ствол автомата каску и высунул её за угол дома. Этого чёрта надо было отвлечь, чтобы он был делом занят и не думал о собственных тылах.

Выстрел раздался почти сразу же, но стрелок в каску не попал. Я спрятал приманку и через несколько секунд выдвинул её уже пониже. Выстрел. Опять мимо. Хотя в угол дома он всё же зарядил. Каску прятать не стал и, дождавшись очередного безрезультатного выстрела, выглянул уже сам.

Стрелок находился именно там, где и говорил ефрейтор. Он совершенно по-идиотски высунул ствол винтовки из слухового окна и с азартом, достойным лучшего применения, пытался пристрелить хоть кого-нибудь. Странно, он и в дом-то не всегда попадает. Как он вообще умудрился Макарыча-то зацепить? Случайно, что ли? Очень на то похоже.

Недоделанный снайпер успел выстрелить ещё три раза. Потом, после непродолжительного затишья, раздался условный свист. Мы с бойцами, соблюдая максимальную осторожность, перебежали улицу и вломились во двор дома, из которого по нам велась стрельба.

Снайпер действительно был недоделанный. Вернее, это был не снайпер и даже не военный. Это был пацан лет тринадцати-четырнадцати. Одет, как и большинство уже виденных мной детей, с чужого плеча. Этому достался явно не подходящий по росту тёмно-коричневый пиджак, рукава которого не доходили ему до запястья. Под пиджаком замызганная светлая рубашка, ворот которой был наполовину оторван и болтался за спиной. Штаны под тон пиджаку и тоже короткие. Завершали наряд растоптанные тупоносые ботинки, которые даже с первого взгляда определялись как слишком большие для такого возраста.

Лохматый, весь в пыли и паутине, он стоял с низко опущенной головой и, время от времени шмыгая носом, размазывал грязь по и так уже чумазому лицу. Ему было страшно, очень страшно. У него тряслось всё: руки, колени, голова, всё его тело ходило ходуном.

— Полюбуйся на стрелка, командир! — засмеялся Потапенко. — Это ж надо! Фрицы нашему деду за четыре года не смогли ни одной отмены оставить, а этот щенок после окончания войны его умудрился подстрелить!

— А чего он весь такой разодранный? — поинтересовался я, налюбовавшись на мальчишку. — Неужели ещё и сопротивлялся?

— Да не! Это он, товарищ капитан, сбежать хотел, — хмыкнул один из бойцов, сопровождавший Потапенко, — а я его за ворот и сцапал.

— Так посадите его куда-нибудь, что ли, — попросил Макарыч и, ткнув пальцем в скамейку, стоящую возле стены дома, добавил: — Вона,

на лавку. А то я смотрю, у него головёнка от страху так трясётся, что того и гляди отвалится!

— Крикните сюда Семю, — распорядился я, — он у нас один более-менее шпихает. Пускай поспрашивает этого вояку: какого рожна он за винтовку схватился? И есть ли здесь ещё такие же ненормальные вроде него?

Но поговорить с мальчишкой сразу не получилось. Не успел Семён задать первый вопрос, как от калитки, ведущей во двор, раздался надрывный женский крик:

— Найн! Найн! — и через столпившихся во дворе бойцов к пацану начала пробиваться молодая женщина.

Её задержали, и тогда она, захлёбываясь слезами, начала что-то быстро говорить, обращаясь почему-то к Макарычу.

— Семён, узнай, кто это и что ей здесь надо?

— Это его мамаша, товарищ капитан, говорит, что он ещё маленький, не ведаёт, что творит, и что мы не можем убивать детей.

— Не вам, дамочка, указывать нам, что мы можем, а что не можем! — рявкнул я и спросил у Семёна: — Перевёл?

Дождавшись утвердительного кивка солдата, подошёл почти вплотную к немке и, уставившись ей в глаза, понизив голос, медленно проговорил:

— После того, что вы вытворяли на нашей земле, вам лучше помолчать!

Женщина в ужасе уставилась на меня, зажала себе рот ладошками и часто-часто начала кивать головой, словно несущка над рассыпанным пшеном.

Когда я от неё отвернулся, она сдавленным голосом быстро начала что-то лопотать.

— Что она там?.. — спросил я, и опять посмотрел на немку.

— Просит прощения за сына... ещё она говорит, что согласна на всё, лишь бы мы не убивали её ребёнка.

— Это хорошо, конечно, что она прощения просит. Спроси-ка у него: зачем он начал стрелять в наших солдат и даже ранил одного?

Семён спросил. Но мальчишка как воды в рот набрал и молчал до тех пор, пока женщина не начала ему что-то торопливо говорить.

Я посмотрел на Семёна.

— Уговаривает, — пожал тот плечами, — просит сына не злить русских ещё больше.

То ли уговоры матери подействовали, то ли он немного успокоился, поняв, что его не будут убивать, но пацан начал говорить. Тихо, запинаясь, не поднимая головы, рассказал, что винтовку и патроны ему дал староста. Он же ему сказал, что если нас не остановить, то мы убьём всех, а маленьких детей съедим, так как все русские — звери. Семён вдруг усмехнулся и, глянув на женщину, спросил, обращаясь к Макарычу:

— Ну что, дед, ты не проголодался случайно? А то он просит, чтобы мы не ели его младшую сестрёнку, которую он очень любит.

— Свят дух по земле! — выругался Макарыч и в сердцах сплюнул. — Это что же такое творится-то, товарищи дорогие? Да как же этикие страсти придумать-то можно? Как это назвать-то?! — и он, вытаращив глаза, уставился на опять перепугавшегося мальчишку.

— А это, Макарыч, называется фашистской пропагандой, — ответил я и спросил: — Что с этим хулиганом-то делать будем? Без наказания за такие выкрутасы оставлять никак нельзя!

— Что делать, что делать... — пробормотал, успокаиваясь Макарыч. — Не стрелять же его, в самом-то деле?! — и, повысив голос, предложил: — Портки вон спустить да по голому заду крапивой отходить! Чтобы неповадно больше было!.. Нас завсегда так-то умуму учили.

Он осмотрелся и озабоченно добавил:

— Крапивка у них здесь, конечно, худосочная, с нашей ей никак не тягаться, но если умеючи, то и эта сойдёт, — и, оглянувшись на бойцов, попросил: — Хлопцы, притащите-ка мне крапивы, эвон под забором, гляжу, выросла.

Я пожал плечами. Это, конечно, не макаренковский метод, но через зад действительно лучше и быстрее доходит. И запоминается подольше. На собственной шкуре испытывал не раз! Не всегда взрослым был. — Давайте, ребята! — разрешил я. — Раз пять по заднему месту крапивой пройдите да отдайте его мамке. Кстати, Сёма, — спохватился я, — ты мамаше-то скажи, что мы её сына есть не собираемся, а то увидит, как с него штаны снимают, подумает невесть что.

Пацан взвизгнул, когда его подхватили сразу же несколько рук и, сдёрнув штаны, положили животом на лавку. Макарыч решил наказать мальчишку сам. Поморщившись от боли в раненой руке, он, не торопясь, выбрал самые достойные, по его мнению, крапивины и со знанием дела, примерившись, стегнул подростка по ягодицам первый раз. Сначала мальчишка ойкнул, а когда на его коже проступила розовая, с каждой секундой наливающаяся малиновым цветом полоса, он заверещал. Макарыч удовлетворённо крякнул и приложился крапивой к заднему месту пацана ещё раз. Потом горевое воин завывал, уже не переставая, пока, под смешки бойцов, ведущих хором отсчёт, Макарыч трудился над его задним местом.

— Ну вот и лады, — наконец удовлетворённо выдохнул Макарыч и со словами: — Всё, проваливай отсюда, — согнал ревущего мальчишку со скамейки.

Тот шустро вскочил и, придерживая штаны обеими руками, поспешил к матери. Та, всплеснув руками, обняла его за плечи и, постоянно оглядываясь на нас, торопливо повела сына к калитке, по пути что-то выговаривая ему на ухо. Макарыч постоял, задумчиво глядя им вслед, а потом с удовольствием уселся на лавку сам.

С удобствами отдыхал Макарыч недолго, практически сразу же, как только за мамашей с сыном закрылась калитка, с другого конца посёлка раздались автоматные очереди.

— В конце деревни стреляют! — сказал Потапенко, подняв вверх указательный палец, прислушиваясь. — А там как раз ихняя церковь находится. Я её, товарищ капитан, заметил, когда мы с чердака этого детёныша выковыривали.

— Далеко до неё?

— Да не, недалече! Надо тока на другую улицу перебраться, — махнул рукой ефрейтор и, направившись в обход дома, крикнул: — Давайте за мной!

Через небольшой переулок вышли на соседнюю улицу и, привычно прижимаясь к домам, пригнувшись, побежали в сторону не на шутку разгоравшейся стрельбы.

Кирха, обнесённая невысоким заборчиком, находилась на небольшой площади, на которую выходили три улицы посёлка.

Я уже видел её остроконечную верхушку, когда почти одновременно грохнули два гранатных взрыва, и стрельба прекратилась.

— На площадь никому не высовываться! — приказал я, осторожно выглядывая из-за угла дома, стоящего прямо напротив церкви.

Перед дверями кирхи полукругом были уложены мешки, из которых через многочисленные пробойны тонкими струйками высыпался песок. За мешками находились мои бойцы, ушедшие с майором, часть из них, осматриваясь, выглядывала из-за баррикады, а трое топтались возле дверей кирхи.

— Свои! Не стрелять! — заорал я и, подняв руки, вышел из-за дома.

— Давайте быстрее сюда! — закричал один из бойцов и замахал мне руками, поторапливая.

— Что тут у вас? С эсэсовцами, что ли, сцепились? — кивнул я в сторону тела, одетого в чёрную форму, облепленную опознавательными знаками войск СС.

— С ними, с тварями! — выругался Семашко и, ткнув пальцем в труп, добавил: — Их четверо было. Если бы не гранаты, до сих пор бы, наверное, возились. Умеют воевать, сволочи!

— Все целы? А где майор? — спросил я, осматриваясь.

— Все!.. А майор там, в госпитале, — кивнул старшина в стороны кирхи.

— Это что, госпиталь у них был, что ли?

— Почему был? — удивился Семашко. — Он и сейчас есть, я там раненых видел.

— А майор?..

— Там он... внутри, — пожал старшина плечами, — один из фрицев раненый внутрь заполз, майор зашёл следом и... в общем, добил он немца. А потом подобрал его автомат, приказал нам всем выйти и закрылся изнутри.

В это время из кирхи раздалась короткая очередь, а потом, через некоторое время, ещё одна.

— Твою ж мать, майор! Что же ты творишь-то?!.. — выругался я и командовал: — Потапенко, надо двери открыть, навалитесь-ка толпой на неё, а то политрук со злости там... наделает делов!

Бойцы навалились на двери впятером, но та не поддавалась. Дверное полотно было добротное, на совесть сработанное, да ещё и обитое металлическими полосами.

— Отойдите все подальше! — командовал Потапенко и, отступив от двери, выпустил по замку длинную очередь из своего ППШ.

Взвизгнули отрикошетившие от металла пули, брызнула во все стороны щепка. Потапенко, перехватив поудобнее автомат, примерился и изо всех сил ударил в дверь ногой. Дверь распахнулась, и сразу же в глубине здания раздалась ещё одна очередь, а следом за ней ещё. — Назад! — приказал я рванувшимся было вперёд бойцам. — Чёрт его знает, что у него сейчас на уме! Сам пойду, поговорю!..

Изнутри кирха оказалась довольно просторной: лавки сдвинуты к одной из стен, и всё освободившееся от них пространство занимали металлические кровати, между которыми валялись окровавленные простыни, одеяла, бинты и какие-то тряпки. Было видно, что помещение покидалось в спешке и о соблюдении порядка никто не думал.

Я остановился, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку, и, услышав за спиной шаги, обернулся. С десятков бойцов во главе с Семашко стояли за моей спиной. Я махнул рукой: «Чёрт с вами, оставайтесь», — и медленно направился к стоящему возле кроватей майору.

Успел сделать с десятков шагов, когда майор неторопливо поднял автомат и, прежде чем я успел закричать, выстрелил, сделав короткую, на несколько патронов, очередь.

— Майор! Отставить! Прекратить! — всё-таки заорал я и рванул к замполиту.

Тот, не обращая на меня внимания, спокойно прицелился в лежащего на кровати человека и опять дал короткую очередь. Я остановился за его спиной и прошептал:

— Что же ты натворил, майор?..

Замполит бросил автомат на пол, повернулся ко мне и засмеялся. — Всё!.. Это был последний, — подойдя ко мне, сказал Семашко. — Шестеро их было, лежачих, я успел сосчитать, прежде чем майор приказал нам выйти.

Майор уже не смеялся, он стоял, подняв голову вверх, и улыбался, губы его шевелились, как будто он с кем-то разговаривал.

— Товарищ майор! — окликнул я его, но он словно меня и не заметил, он вообще никого не замечал.

Мне показалось, что он чего-то ждёт, вглядываясь в высокий потолок кирхи.

Обойдя меня и Семашко, к замполиту подошёл Гриша и, подняв свой автомат, навёл его в грудь майору. О том, что сейчас произойдёт, было ясно как день. Я мог бы его удержать, успел бы!.. Но не стал.

Дёрнулся, басовито рыкнув очередью, автомат в руках бойца, и майор, сделав назад два маленьких шага, словно его кто-то сильно толкнул в грудь, раскинув руки, упал на спину. Он так и смотрел вверх, улыбаясь, когда к нему подошёл Макарыч, крихтя, опустился рядом с ним на колени и, проведя ладонью по лицу, закрыл ему глаза. — Зачем?.. — посмотрел я на Гришу.

— Я видел, как убивают раненых!.. — хриплым шёпотом ответил парень. — Видел!.. Ещё тогда, в самом начале... Я помогал в госпитале... Фашисты шли вдоль кроватей и стреляли в раненых... шли и убивали... спокойно, не торопясь, как будто выполняли неинтересную работу... Я слышал их голоса, видел их лица... Фашисты... Они не должны жить... Я под кроватью спрятался... меня не увидели... Майор убил раненых... он не должен жить...

Вот так вот. Что можно на это ответить?! Ничего!

Не я один не стал парня останавливать. Бойцы его тоже не удерживали, хотя и видели, что он собирается сделать. Значит, они думают так же, как и он: «Фашисты убивают раненых. Если ты убил раненых, значит, ты тоже стал таким же, как и они. Поэтому не должен ты ходить по этой земле».

Всё правильно. Логика простая и прямая, как штык. В ней нет места для закоулков, в которые можно забрести и, устроившись в удобном кресле, поговорить, порассуждать о бытии да поспорить о правых и виноватых. Штык, он всё расставляет по своим местам.

— Семашко! — посмотрел я на старшину. — С майора надо снять форму, тело вынесем за деревню и похороним в лесу. Форму, документы и планшет политрука сжечь. Да, ещё, чуть не забыл! — спохватился я, когда старшина с двумя бойцами направился к телу майора. — Тело убитого фрица подтащите к кроватям и положите рядом с ним автомат, из которого майор стрелял.

За кирхой сложили костёр из разломанных заборных штакетин, и я, присев рядом с ним на корточки, наблюдал, как пламя жадно заглатывает вещи, когда-то принадлежавшие хорошему человеку. Смелому воину. Любящему мужу и отцу. Человеку, отдавшему этой войне всё! Даже собственную душу!..

— Товарищ капитан! Всё сделали. Получается так, что этот эсэсовец вроде как сам своих раненых перед смертью перебил. Можем выступать, — доложил старшина и, понизив голос, спросил: — Вы что-нибудь скажете перед выходом?

— Обязательно скажу, старшина, но не сейчас, попозднее.

Тело майора закопали в километре от деревни, в небольшом леске. Перед тем как двинуться дальше, я построил взвод и предложил

почтить память погибшего от прямого попадания крупнокалиберного снаряда майора Рябова. Никому из бойцов ничего объяснять не надо было — все всё понимали. Если бы политрук вернулся с нами, его бы расстреляли за то, что он совершил, и в памяти людской он бы остался как убийца беззащитных людей. Он понёс за это наказание и умер.

Я был уверен в своих бойцах, никто из них не проговорится, и майора будут помнить как воина, погибшего на поле боя. Светлая ему память!

Альбина Мамаева

## Гостья дорогая

Фрося забыла, когда последний раз врысью бегала. На молоканку-то заскочила вся на парáх. Раскраснелась, ко шшекáм серянку поднеси́ — того и гляди пыхнет. Там же собрались все доярки — молоко сдавали да расходились по домам.

— Девки, хотите верьте, хотите нет, счас почтовска радиogramму притащи́ла. Дуся в гости собралась.

Зойка так и замерла с незавязанным платком:

— Вай, Фрося, неуж вправду приедет? Скажи ей: мол, Зоя зовёт в гости, пушшай придёт хоть на вечерок. Мы вить с ней подружками шшитáлись... Хоть бы строчку написала за всю жисть. Городска стала, не нам четá...

Фрося махнула рукой:

— Я шибко-то не верю. Это уж третий раз сулитца, ни разу не едет. Тово гляди, опять передумат. Я те годá стречать ходила... На стречины тесто ставила... А счас думаю, ничем запасатца не буду. Даст Бох, приедет, дак не выгоним.

Девки зашевелились. Ну-ка, сестра в гости едет! Её уж и помнят-то не все.

— Слышь, Фрося, она сколь годов-то не казалась тут?

— Ну ты спросила! Счас пошшитам. Докуль маменька-то жива была, дак приезжала всё-даки хоть дён на пять каждый год. А маму хоронили, можно сказать, што не была. Приехала перед выносом. Дак на одну ночь и то не осталася. Катер подошёл, она на нево фырк — и укатила. Дескать, на самолёт билет не достала, а отпуск не дали, взяла день за свой шшот. Ну, слава Бох, хоть попрошшалась с маменькой-то, на кладбишше проводила. В избу зашла, помянула... и то хорошо. Ну и вот, маму-то пятый год доходит как схоронили.

Девки издива вышли:

— Вай, дак это што за терпённишше надо — три года домой не ездить?!

Как бы ни храбрилась Фрося, а на душе всё же кошки скребут. А ну как вправду явитца? Не железа вить она, неуж нисколь домой не тянет?

Ночь перед приездом, шшитай, не спала. Сперва в голову лезло, как до войны жили, как Дунярка была им и за няньку, и за мамку... Уж её-то с Кольшей сестра вырастила. Наипаче в войну маму дома не видели, на колхозной работе всё здоровье оставила. Чё там говорить, всякой работы хлебнула.

Растравила себя, наплакалась. Какой потом сон?.. Поднялась, завела к утру квашню. Хоть и не прилетит нянька, пироги мимо рта мы и сами не пронесём. Мужики как раз наёмали окуней, сразу пустила их на холодно. От него тоже никто не отворачиватца.

Сна никак нету, хоть глаза выколи. Перед самым утром ишло наварила маминых штей. Эстоль годов нянька не едала своёво-то...

Ну и чё?! «Аннушка» прилетела и улетела. Дождалась, пока все пассажиры пройдут. Нету моёй Дуси. Не вышла Дуся! Вот вить кака болтуша. И на радиограмму денег не пожалела. Как знала, не хотела никово направлять! До зимы доживу — не поленюсь, сама к ней летаю, настыжю рожу-то.

Раз уж пришла, дак забегу на молоканку, забыла халат взять, нестираный останетца. Там кака-то работа навалилась, проваландалась часа два...

...Но, паря, однако, Любкина шапка мимо окошка-то пробежала, во — и сама тут как тут.

— Тебе дома неково делать — бегашь по деревне? Така кобыла выросла, нет бы матери помогчи, а она по деревне хвошшет!

— А ты сама и виновата. Я уж тебя вся обыскалась, как скрость землю провалилася. Всю деревню на ноги подняла, а ты на молоканке. Ты чё суды явилась?

— Вот тебе на! Работаю я тут. Не пужай меня, лучше сразу говори — хто чего дома подёковалось?

Любка остолбенела:

— Ну ты даёшь! И чё выставилась, глаза на лоб? Ты же навроде уходила тётю Люсю стречать?

— Ты ково мелешь? Каку-то Люсю придумала!

— Ну, тётю Дусю, не всё ли равно?

— Дак не прилетела твоя тётка-то...

— Ага, ишло как прилетела! Мы с ней уж два часа чай пьём.

Фрося не дослушала, на ходу сбросила рабочий халатишко:

— Вай, вот дак стретила я няню! Побяжали скорей! Вот бестолкова башка, чё сразу-то не сказала?

Любка обиделась, пробурчала себе под нос:

— Ну дак конешно — не всех вить, как тебя, сразу умными рожают...

А мать никово не слышит, бежит как настёгана: неуж вправду прилетела сестрица? Вай, дак как я её не признала-то? А чё дивного? Сама тоже не часто выезжаю в город. Давно не виделись. Она вить, выходит, мимо меня прошла и не оглянулася... Чё время с людьми делат?!

Хорошо, што не на другом конце деревни живём. Какэсь задохлась. Ишло не старуха, а прыти нисколь не осталось. Слава Бох, добежала. Дуня выскочила встречу. Вай, дак её хто признат? В тот раз была посправней... А счас как с креста снята! Она уж не хворат ли, оборонишна мать?

Уж оне обнимались-обнимались да целовались-целовались... И нахотались, и наплакались. Посидят-посидят — давай опеть друг дружку крутить, вертеть да ошщúpывать. Никак наглядетца не могут.

Всё же Фрося скорей опамятовалась:

— Родна моя нянюшка, я уж думала, мы не свидимся... Это какá такá, никак-то ты к нам не ездись. Не знала, ково и думать. Умом-ту понимаю, навроде на нас обижатца не за што. Давай-ка, моя родна, покормлю тебя, а потом разговоры будем разговаривать. Поди исть отошшáла в дороге-то? Не близко прилетела.

— Да нет, Фрося. Я отвыкла помногу-то съедать.

— Я не без глаз, вижу, што не объедашься... Изю рта выхватывают у тебя ли, чё ли? Я тебя девкой-ту как счас вижу... Идёшь по деревне — така статна, така гладка, ноги ровно кладёшь... Волосы — што тебе вóроново крыло, на висках кудрявятца... А я сама себе завидую: ни у ково такой няни нету. Што ты! Бáшше тебя никово не было. И не спорь со мной. Дак ты чё, нарачи себя голодом моришь ли, ково ли? Или уж мода счас такá?

— Ну, ты какá была, такá и осталась. Лишь бы посмеяться.

— Дак мне не до смеху. Тебе чё втемяшилось — эдак-ту исхудала? Или в городе с продуктами худо? Написала бы, уж я бы нашла с кем передать тебе и рыбки, и мяска, и картошечек. Соленины эвон пóлон кобрег, хоть ково бери. Купить-то, конечно, тут ничё не купишь, но хто сiднем не сидит, с голоду не пухнут. Всё есть — только работай. Слыш-ка, а Любка-то с чево тебя Люсей зовёт?

— Не обращай вниманья. Наградил Бох íмечком, всю жизнь с ним маюсь. Счас уж и старух Евдокеями не зовут.

— Ты чё маешься-то? Ране вить имена здря ума не давали, всё со значеньем. Дуней-то была наша баушка, тятина мать, царство небёсно. Дак вся деревня говорит: уж до чево умна́ была. Она и челядёнка от испугу вылечит, и старухам голову поправит. У ково работа тяжела, те приходили пуп на место ставить. Хто поясницу... И в травках она понимала. Да хоть с чем придут, никому не отказывала. Посоветоватца — и то к ней. И взамуж-то её отдать угадали, дедушка Матвей, царство небёсно, тоже добрый попал. Прожила за ним как у Христа за пазухой — ни бита не была и ни рúгана. Дак вот, маменька-то всё об тебе говорила: дескать, дождётца Дуня своё счастье, не здря баушкино имя носит. А ты — «стесня-я-яюсь»...

— А я про это не слыхала. Не обращай вниманья. Ты вить не знашь, я выучилась в училишше. Счас в начальной школе учителем работаю. Дак челядь, наипаче городска, непривышна к старым именам, запомнить не могут. Которым дак смешно кажетца. Я им разрешила называть меня Людмилой Михайловной, потом и сама привыкла. А ты зови как хошь.

— Ну, слава Бох, с íмем разобрали́сь. Ешь давай, ешь! А ты как выучилась-то? Хочь бы раз написала, неуж не помогли бы тебе?

— Мне чё помогать? Я вить заочно училась. В больнице часто лежала. Меня там врачиха и натака́ла: мол, чё здря бока́ пролёживать? С твоим

здоровьем на тяжёлу работу не возьмут. И в пошивочной то же вредно сидеть, там вить от матерьи пыли полно. Дескать, дышать тяжело. А в больнице ково делать? Сутками спать ли, чё ли? Набери, грит, книг да и читай, хоть по всему дню учи свои уроки. Не заметишь, как выучисся. Всё же в школе-то работать — не кули таскать, а кусок хлеба будет. Дай ей Бох здоровья, Анне-то Николаевне. Хороша врачиха, все хвалят. — Ты рассказывай, да про ложку не забывай. Я из-за стола не вы́пушшу, пока чашки не опросташь. Так и знай. Тут боятца неково, всё своё, отравы никакой в продуктах нету.

— Дак ты столько наворотила, мне на неделю питатца хватит. . .

— Вай, мамы родимы! У меня Любка ишшо ножками не ходила, съедала ёстоль-то. Вот ей-бох, нисколь не вру. На еду-то с малых лет жадну́шша. Бывало, заревёт, титьку ей сунешь, дак она мать-ту съисти готова! А, не дай Бох, молока мало покажетца — всю искусат. Я уж не чаяла отнять её от титьки-то. . . Дак её и счас ко столу два раз звать не приходитца. Чё ни дай — всё съест, ишшо и кусочком чашку-то подчистит.

Ефросинья всё приглядыватца, так и эдак поглядит. Никак не верит, што сестра рядом сидит.

— Вай, Дуся, гляжу на тебя и не верю!.. Маменька-то все глаза выплакала, дак и я об тебе день и ночь Бога молила. Ты пошто редко письма-то писала?

— Ох ты, моя родна, я вить не раз бралась за письмо-то. Думаю, напишу, што всё у меня хорошо. . . Дак ты вить знашь, што я врать нисколь не умею. Чё хорошо-то, когда ни сидеть, ни лежать — всё истыкано уколами? А оне до чево болючи — вспомнить страшно. . . Брошу письмо, уткнуь в подушку да реву, штоб никто не видал. А потом думаю: вам и так несладко живётца, ишшо я добавлю. Должно же стать полегче-то, тогда и напишу. Это вить сколь годов после войны-то прошло? А меня и счас раз в полгода обязательно ложат. И никто не говорит, когда легче-то будет. . . Вот вить чё. . . Ну и так. . . это вить только подумать, чуть остыну — всё! Который раз привезут в больницу-то на носилках, еле-еле душа в теле — на своих ногах стоять не могу. Наверно, вашими слезами да молитвами и живу. . .

— Вай, нянюшка моя родна, дак ты пошто ни разу-то нас не известила? Мы бы вить хоть как добрались, опроведали бы тебя. Ты пошто скры́тничала? Дак и суды-то прилетишь на три-четыре денёчка — хоть бы словом обмолвилась. Мы вить тебе не чужи. Думали, раз молчишь, дак хорошо устроилась. В городах-ту полегче жилось, чем у нас. Вот и не лезли. А от тебя придёт одно письмо — и опеть ни слуху ни духу. Как вечер, так с мамой на картах воро́жим: жива ли, нет ли наша Дунюшка? Потом уж постановили: чё-то худо, дак неуж не написала бы нам?! Давай, рассказывай всё как на духу.

— Ох, родна моя, разве всю жисть-то обскажешь?

— Дак мы никуды не торопимся. Лёня-то с меньшим, с Юркой-то, на покосе ишшо дня три будут, на Берёзовом косят. Не забыла остров-от?

— Я с чево забуду? Летом напрохот во сне вижу — на плошкоте туды плывём. Не поверишь, слышу, как сеном свежим пахнет...

— Вай, гли-ка, до чево себя довела. Уж эдак тоскнула, дак пошто не ехала-то?

— Дак вот... Всё собиралась, а как поедешь? Здоровья нету, все отпуска и каникулы в больнице, тогда ишшо выдјоживаю зиму. А нонче уж места себе не находила, вот тоскнёт сердце, и всё! Другой раз заподмыват — на крыльях улетела бы к вам! Врач разрешил, только наказал не простужатца.

— Давай, нянюшка, живо доедай да проходи в передний угол. Всё-всё расскажешь... А то мужики приедут — не до разговоров будет.

К сёстрам присосёдилась Любка:

— А можно я с вами посижу? Ну пожалуйста... Я тихо-тихо, ну чес-слово!

— Да ладно, раз уж у меня така племяшка образовалась... Когда выросла успела?!

Мать добавила:

— Давай ешь, посудёнку перемоешь — потом к нам. Поняла?

— Поняла-поняла. А вы пока не разговаривайте, а то само интересно пропушшу...

...Ну вот, разговоров хватит на всю ночь...

— Не знаю, с чево начать...

— Дак сначала и начинай. Как надумала уехать-ту отцель?

— Думать мне некогда было... Ты разве не помнишь, как я заболела?

— Дак меня вить как раз мама собирала в Богучана. Ты без памяти лежала, не помнишь... В колхоз разнарядка пришла — отправить на погрузку зерна десять человек. Осень была, навигация на Ангаре заканчивалась. А ково отправлять? Война народишко подчистила... Одни девки. Девять наскребли, а где ишшо одну брать? Приседателю зарез — хоть самому рожай. Мне четырнадцать зимой будет, а в правленье решили годик мне приписать да и отправили. Умирать буду, не забуду эту погрузку. И приседателя понять можно, ему хоть разорвись. Вай, Дуся, как спомню!.. Поставили над нами бригадира, дедушку. Не он бы, дак сколь бы нас там осталось... Думаешь, одна я малолетка-то была? Вот уж мама поплакала! Ну-ка, така семья была — и остались двоём с Колей. Ты лежишь без памяти, краше в гроб кладут. И меня отправляют, попрошшатца и то не дали. Она на птичнике работала, дак никто не известил, што меня отправляют. Коля-то уж перед школой был, семи годочков, сообразил сбежать к ней. Не поверишь, она по берегу за нашей баржей бежала до Толстой горы, сколь бежала, столь и ревела. Она всю жисть у меня перед глазами так и стоит: бежит по камням, запнётца, подыметца и красным платком машет... В Богучаны привезли нас, никуды не отпустили, даже у ково родня там была. Жили тут же, на берегу. Баржу вплотную к берегу не поставишь, подынатца надо по трапу. А я с малых лет до смерти высоты боюсь. Меня и без грузу на этот трап кое-как загнали.

А кули-то не нонешны, што по пятьдесят килограмм, а самы насто-  
ящи — по семьдесят. Счас гляжу на Любку — как бы ей этот куль  
поднять на плечи? Дак она хоть справная у нас, а я-то на военных  
харчах не шибко толста́ была. Вот забросят тебе куль вдвоём на плечи,  
и надо по этому трапу идти на баржу. А он узенький да качатца...  
А у меня сердце обмирает. Ничё с собой поделать не могу — три шага  
шагаю и падаю или куль роняю. Это ишло хорошо, што падала на  
берег, до воды не доходила, а то вить тюрьма — столь хлеба утопить!  
Глядел на меня дядя Гриша, глядел... Чё с девкой делать? И как он  
додумался? Нас там разделили на две бригады. Работали по очереди,  
один час наша бригада грузит, друга отдыхат, потом меняют местами.  
Дак он чё придумал — подошёл ко мне и строго-настрога говорит:  
«Ну, Фроська, некогда мне с тобой чикатца. Сколь раз упадешь, столь  
часов будешь работать без отдыху. Мне, грит, за тебя отвечать неохота.  
Хоть обижайся, хоть нет». Не поверишь, как рукой сняло. Ни разу не  
упала. Хороший был дедушка, царство ему небёсно. Жалел нас. Спать  
голодны ни разу не ложились, где уж он ково брал — не знаю. Вай,  
родна, я тебя перебила. Рассказывай, больше не пйкну.  
— Чё ты перебила-то? Я вить про тебя тоже мало чё знаю. Бедна, бедна  
маменька... Сколь натерпелася. Тятя умер, осталася с нами четверыми,  
мал мала меньше. Её братья хорошо нам помогали. А тут война, их  
всех пятерых на войну забрали и убили. Ни один не воротился... Нас  
надо было обуь-одеть... Да чё говорить? Всем тяжело жилось... Ты  
хлеб грузила, а мы плоты сплавляли. Тоже одни девки да бабы. Ну дак  
один плот у нас разбило дня за два до Игарки. Как собрать этот плот?  
Собирать нё с кем. А как унесёт весь лес? Дело-то подсудное. При-  
шьют вредительство, и Вася не чешись! Были бы мужики, дак друго  
дело — сообразили бы. А тут бабы да девки, из мужиков один старик,  
руководил нами. Сколь-то баб сразу провалились, так и ушли на дно.  
Вода-то ледяная, сразу руки-ноги сводит. Мало ково спасли... Мы с  
Еленой тоже ухнули. Но всё же как-то выцарапались. Ни переодетца  
не в чего было, ни обогреться нёгде... Как вьдюжили — не знаю. До  
Игарки дошли, дак мы с ней без памяти лежали, не знаю, как в боль-  
ницу попали. Неделю нас подержали, а потом наша бригада поехала  
обратно, и нас забрали. Всю дорогу мы какыкали без передоуху. Ну и  
чё? Приехали домой, а там уж новый плот дожидатца. Ково делать?  
Пошла мама к начальнику плóтбишша: мол, хоть один плот без них  
бы угнали... Девкам-то подлечитца нады. Уж кака така? Ну он и  
говорит: давай мне человека на замену, тогда отпушшу́. Мне кровь  
из носу приказано плот до ледостава в Игарку уплавить. А где ево  
возьмёшь, человека-то? Откажись я от сплава, живо докажут... а там  
и до тюрьмы недалёко. Я дома-то старша была, ты ишло небольша,  
да Коля — тебя моложе. Елене подвезло, у ней брат как раз вернулся,  
комиссованный. Он её и заменил. Старики собаку забили. Всю зиму  
откармливали её собачьим салом. Ничё, оклемалась. А я ишло раз

сходила до Игарки, обратно домой к зиме уж воротились. Сразу слегла, натóдель захворала. Кое-как довели меня до Кежем, отводились там со мной, поставили мало-мáло нá ноги да отправили в край. Всю зиму там и пролежала. Туберкулёз открылся. Врач строго-настрого наказал переезжать поближе к Красноярску.

— А чё к Красноярску-то? Дома-то полегче, всё же родня рядом, пропасть не дадут.

— Да-к в городе больницы, а тут ни врачей, ни лекарств... Ну и вот, видать, судьба была, полóжили к нам в палату тётю Надю, дай ей Бох здоровья! Она хоть в городе давно жила, а так-то деревенска. Ну така приветлива, разговорчива! Мы с ней бытто всю жись знакомы были! Работала она в быткомбинате, шила платья́. Я ей возьми да покажи свои платишки. Немного, бывать, одежки-то было. Не знаю, то ли она приставлялась, то ли ей вправду поглянулось, как я шью. Может, пожалела меня. Ишшо со мной была самовязана кофта, дак она не хотела её из рук выпускать. Ну, говорит, с твоими руками тебе самый раз у нас работать.

— Ты чё, думаешь, я забыла? Ты вить с малых лет всю сёмью обшивала. Кабы не ты, дак в войну-то мы бы нагишом ходили. Какá бы тряпица в руки ни попала, ты из неё чё-нить да состряпашь. Помнишь, ко второму классу собирали меня? Юбочка одна была, а я возьми да вырасти из неё. Это вить счас бегают — всё наголё. А в те года стыдно было выше коленок надевать-то. Ково делать? Ты её оглядела, а потом как больша говоришь: мол, юбка ишшо дóбра, можно переделать. Перелицевала её на леву сторону, связала полоску кружавчиков из чёрных ниток и надставила ими мою юбку! Да-к в ней не стыдно было не то што в школу носить, а и в клуб нарядитца. Ишшо два года я в ней проходила. — Ой, счас я вам карточки покажу. Любочка, ташши суды альбом-от! Счас покажу, как я шить научилась. Сколь на карточках одёжи на мне, всё-всё сама сшила! Нет-нет, чемодан не шевели. Карточки все в сумке, всю-то не таскай, расстегни, альбомы нанизу лежат. А сверху подарки всяки да сласти, выташши всё да прибери, а карточки нам давай. Чемодан сёдни открывать не будем. А уж завтра натóдель займёмся этим делом. Я его пóлон матерьи наклала. Жить тут у вас целый месяц собираюсь, еслив не выгоните. Нашью вам обнов, будете у меня не хуже городских.

Любка завизжала, взялась скакать на кровати! Да-к как не заскачешь? В деревенском-то магазине не шибко нарядишься. Одежка тут — лишь бы грешное тело прикрыть, не до хорошего...

Вай, а уж карточки-то до чево баску́шши, сроду таких не видывала. Няня-то на них не хуже артисток. А уж в каких нарядах — Любка да-к не могла наглядетца! Платья́ и сарафаны, костюмы и пóльта! Мамы родимы — каких только нету!

— Няня, чё-то я замечаю, ты на карточках-то везде одна... Неуж замуж не вышла? Это куды мужики глядят, такую красоту не видят?

Или уж ты никуда не ходишь? Гляжу, в бригаде-то одне бабёнки. На одной-то с мужиком сидишь — не твой?

— Какой мой-то? Наш наладчик.

— А на тебя поглядывают не как наладчик. Меня не обманешь.

— Врать не буду, поглядывал. Звал взамуж. Отказала я. Мужик не последний. Работающий. Одно худо — каждый день с похмелья.

— Ему ково делать? Семья была бы, дак, глядишь, и бросил бы вино...

— Ой, никово не говори! Шибко страшной. Пушше-то нос в глаза бросатца. Эти карточки-то ишшо из пошивочной. Тётя Надя меня вить устроила к себе, дай Бох ей здоровья. Так што я не бедствовала. А потом отучилась да и перешла в школу.

— А учителя-то чё, взамуж не выходят?

— Фрося, како мне замужество? Ты не видишь — кожа да кости? Надолго ли меня хватит? Какой мужик согласитца такой хомут на шею надеть? За худого сама не хочу, а доброго жалко. Доброму-то мужику семья нужна, штоб дитё было...

— Дак не обязательно всем рассказывать, што родить не можешь. А там, глядишь, попривыкнет. Или можно сироту взять...

— Нет, родна, врать-то я непривышна. Да и врачи мне сразу сказали: недолго заживусь на этом свете.

Фрося заревела на неё:

— Счас, давай помирать! До коммунизму, говорят, годов пятнадцать осталось, а она — помирать! Да хто тебе даст? Ты об этим даже думать забудь!

— ...Смерть-то никово не спрашивают... и молодыми не брезгует. А я уж всё-даки пожила.

— Вот ты со своей совестью... Я хоть и небольшая была, а помню как счас, Васька-то за тобой ухлёстывал. Дак вить сватался приходил. Ишшо и не раз. Сама-то не забыла? А ты всё: он дурак, он дурак... И чё? Где счас этот дурак? В сельсовете посиживает, перекладывает гумаги с места на место. Это не город, у нас хто в конторе сидит, тот и власть. В пинжаке ходит с рубахой. Ноготки обстрижены, как у девки, один к одному. И пахнет от него не навозом либо соляркой, а дикалоном. Нам-то заместо зарплаты трудодни начисляют, а он небось деньгами получают. Вот тебе и дурак. Умны-то и за трудодни спину не разгибают, а за них сама знашь чё дают, за трудодни-то. Шиш да маленько. Вот и горбатишься и на работе, и дома. Огород, грибы, ягоды да охота с рыбалкой выручают. А то хоть зубы на полку складывай... В городах-ту все на базарном живут, а у нас как потопашь, так и полопашь. А Васькина баба всю жисть дома сидит, сроду нигде не рабатывала. Как сыр в масле кататца. По три раз на дню наряды переодеёт. Дак на этого Ваську нахвалитца не может. Вот тебе и дурак сопливый!

— Спомнила старуха, как девкой была. Плюнь ты на него, на Ваську этого. Нету мужика, и это не мужик. Дак он и сватался, я ишшо здорова была. Счас бы за версту нашу избу обходил.

— Слышь, Дуня, а ты вить перед войной с Алексеем ходила. Я помню, его в армию-то брали, ты вроде как невестой шшиталась?

— Да... Боле не нашлось таких Алексеев...

— Чё не нашлось-то? Ты вить сама, можно сказать, бросила его. Правда ли нет? Он как-то пьяненький заходил к нам. Мама ишшо жива была, дак пенял ей: мол, я воевал, весь израненый. После той войны ишшо на японску попал. Всё мечтал, как с ней заживём. Нарожам двоих пацанов и обязательно девчонку. И штоб она на мать походила. Ни за што, грит, не поверю, што она никово не завела. В госпиталь от неё последне-то письмо пришло. Дак хоть бы слово написала: так, мол, и так, на меня не рашшитывай. Домой-то на крыльях летел, думал, долечусь, только костыли брошу — сразу свадьбу сыграм. А её след простыл. Мама-то возьми да обскажи ему, как дело было. Вай, дак чё с ним сделалось! Да пошто, грит, она меня-то не дождалась? Да двоём-ту мы бы с ней горы свернули, не то што болеть пережить... — Бросила. Я и не отпираюсь. А как за него идти, жисть ему портить? Ишь, мечтал он об троих детях... Ну-ка, поживи с больной бабой! Да никакой любви не хватит! Это я сейчас стала выправляться, а ране-то из больницы не вылезала. Ты вот говоришь, што я исхудала. А поглядела бы первы года — кожа да кости, краше в гроб кладут. Слова сказать не могла, только рот открою — кашель забиват насмерть. Какі женихи? Оне, которы воевали-то, уж до чево хотели семью да челядят. — Да, это ты правду говоришь. Мой-то тоже вить успел, два года отрубил. Весь израненый. Вай, дак Любку-то любит без ума, какэсь мря умирает. Мужики все сыновеи просят, а этот вишь чё? Ей вить скоро четырнадцать, никуды одну не отпускает. Она пошла в кино — и он за ней. Она в сельпо — он выходит за ворота, караулит, штоб с ребятами ни с какими не заговорила. Я грю: ты чё девку позоришь? Ребята, грю, на злу голову тебя боятца, не подпускашь никово, останетца с таким папкой вековухой. Слова сказать не даёт. Счас на острова-то поехали, меня страшшат: дескать, не дай Бох, чё с Любкой случитца — тебе каюк! А чё с ей случитца-то? Одичал наготово... Я грю, еслив она ишшо ни об чём таком не думат, дак ты сам и заставишь — каково лешака трóстишь и трóстишь? Еслив захочет, дак силком дома не удёржишь... А с другой стороны — она вить хуже челядёнка. Задерёт голову — никово не видит. А так-то девка добра растёт. И послóвна, и работяшша. Два раз говорить не нады. Этово у ней не отнимешь. Худо, што всем верит.

— Вай, Фрося, я уж за тебя-то шибко рада, слава Бох, подвезло тебе. Дивья с таким работяшшим да заботливым мужиком жить. Я пушше-то из-за чево боялась к тебе надолго ехать? Ну, думаю, не всякому поглянетца — така́ сестра в гости приедет. Я вить наскрось больна. Правда, незаразная, в школу-то заразных к дитям не допускают.

— Ох ты, моя родна, разговаривашь-то по-нашему, не забыла? А в городе-то понимают тебя?

— Я с чево забуду, Свят Дух Восподний? Истосковалась по разговору-то. Не поверишь, который раз спать лягу и сама с собой разговариваю. Штоб не забыть. В городе-то, конечно, говорю как все, по-ангарски-то засмеют. А ты чё спрашивашь?

— Дак как, которы вить наготово забывают. Эвот у Феди Николай приежжали, дак баба-то шибко грамотна стала. Об чём бы ни спросил, глаза закатыт: дескать, не понимаю. Тьфу на тебя, думаю!

— Дак, может, не понимает?

— Ново дело — поп с гармонью! Она не с лешака ли понимать-то перестала? Тут родилась и выросла, а счас разговариват через губу... Не-е-ет, это уж такой человек. Из кожи будет лезти, лишь бы её увидали. Дак свекровка, Лидка-то, порассказала про ихнюю жисть. Людка тут никому не даёт себя Людкой звать: дескать, Мила она. Ни к кому тут в гости не заходит и к себе не зовёт. Брезгует. Нигде не работает: мне, грит, хватат хозяйства да девок. Две девчонки у них, погódки, большеньки уж... Дак девок-то обоих замучила — одну на коньках, другу на пианинах. Баушка-то грит, плачут горькими слезами — нет, вить она ташшит их силкóм!

— Вай, дак в городах-ту так и живут. Челядята никаких выходных и каникул не видят. На улицу сбежать поиграть некогда, не то што чево. Нисколь дома не сидят. Всяких школ расплодилось — не перешшитать. И на музыку оне ходят, и танцуют, и поют, и рисуют. И на коньках оне, и на лыжах... Дак ведь и матерям с отцами спокою нету. У ково машина своя, дак ишшо ничё... А ну-ка на автобусах поезди-ка по всему городу с одного краю на другой, да каждый день.

— Но, паря, а я ей не поверила. Я сама-то раз в год до району съезжу, дак потом неделю хвораю. Гли-ка, я зимусь была там на совешшанье, дак ночевала у золовки. Деревня хоть больша, но всё же не город. Изба у них на два хозяина. Дак и то мученне, две ночи ночевала и ни разу не спала. Тоже всё в избе, на улицу ходить не надо. А мне стыдно. Как нужду в избе справлять, наипáче при гостях? Мы дак непривышные. Всё кажетца, через заборку всё слышать. Я бы лучче на улицу сбежала, дак улишной-то уборны совсем нету. Это одно. А ишшо в другой-то половине молоды живут. Как ночь, так всё у них не слава Бох. То ругаютца, то любятца, то музыка играт... Никак тихо-то не живут. Вот и шапéрятца по всёй ночё, жаба в рот им сядь! Какá лихоманка их трясёт?! Как спать ложиться, так у них реви́шша. Дак золовка-то уж из терпення вышла, пошла к ним. Говорила: мол, не торкайтесь хоть по ночам-то, дескать, челядята никак не спят из-за вас. Культурно разговаривала — не ругалась, ничё... Дак им не кáзнитца! Вышли на улицу, давай под окошками стырить. Я уж сама хотела вытти к ним, отчехвостить да минцанером пострашшáть. Потом думаю, не дай Бох, нажабались вина, не оберёся потом... Ну чё, девки, пошли спать? Я сёдни ночь-ту отдежурила со стряпнёй, дак какэсь глаза закрываютца... Завтре договорим.

Татьяна Кырова

## Безмятежность

На днях попало мне на глаза давно забытое слово — «безмятежность». И слышится в нём не кошащее мурлыканье, не воркование сизарей, а журчание родника в малахитовой чаше соснового бора. Сколько раз я перечитала его, столько раз волна нежности поднималась и мягко прокатывалась внутри меня. Детство, отрочество и юность мои нельзя назвать безмятежными. Тем более удивительно, что именно это слово разбудило незатейливые воспоминания простого и вместе с тем незабываемого опыта взросления. Хранятся в закромах души моей истории совсем безрадостные и порой жестокие, где журчащему слову «безмятежность» не находилось места.

Когда мы сделали городскими жителями, мама любила сплавлять меня на лето к тётке в деревню. Чартерных рейсов в Анталию в то время не существовало. В поездах, следовавших на Черноморское побережье и в Крым, свободных полков для всех желающих не хватало. Зато существовала традиция отправлять своих отпрысков на летние каникулы к деревенской родне. Меня с удовольствием оставляли погостить. У тётки было два сына, между собой братья не ладили. Мальчишки постоянно дрались и грызлись по любому поводу, при мне же в доме устанавливался относительный мир. Братья и представить себе не могли, что можно по доброй воле ходить в библиотеку, а я развлекала их тем, что пересказывала истории из прочитанных за зиму книжек.

Однажды кто-то из горожан научил местных ребят игре «махнём не глядя». Витька попался на эту удочку и в результате слепого обмена получил белую крысу. Он притащил крысу домой и стал пугать ею Митьку. Тот психовал и, покрываясь красными пятнами, лез в драку. Обычно я придерживалась нейтралитета, но на этот раз была полностью на стороне младшего брата. Никогда не понимала людей, сюсюкающихся с этими отвратительными существами. Витька носился с крысой до самого вечера. Ему доставляло огромное удовольствие дразнить и доводить до слёз бедного Митьку. Ко мне Витька не совался, и всё же обедать, когда по столу разгуливает крыса, — удовольствие так себе. Я не могла дождаться, когда этот ужасный день закончится. Наконец взрослые пришли с работы. Первым делом Витьке влетело от матери, а когда он огрызнулся, то получил увесистую оплеуху от отца: — Ты, я вижу, совсем дурак! Хозяйства полный двор, а ты крысу приволок!

— Батя! Ой! — Витька не успел увернуться от второй затрешины и растирал ладонью пунцовое ухо.

— Чего «батя»? Сейчас же убирай эту тварь, чтобы духу её здесь не было.

— Она же домашняя. Куда я её теперь? — ещё на что-то надеясь, канючил Витька.

— Я сказал, избавься. А ты, Митька, проследи. Не вздумайте за околицей выпустить. Узнаю — семь шкур спущу с обоих. Вся деревня знает, что она у тебя. И не дай Бог кому скотину попортит, — дядя Вася показал увесистый кулак и склонился над умывальником, давая понять, что разговор окончен.

Загорелая до черноты физиономия Витьки приобрела цвет топленого молока; всего несколько минут назад он куражился над младшим братом, а теперь от прежнего превосходства не осталось и следа. Он жалобно посмотрел на меня, ожидая поддержки, и выскользнул бледной тенью в дверной проём. Мы с Митькой вышли следом. В то лето послеобеденный зной часто сменялся ливнями, и за огородами образовалась огромная лужа. Витька не придумал ничего другого, как закинуть крысу в эту лужу. Крыса благополучно выплыла. Витька от отчаяния чуть не расплакался. Я объяснила:

— Крысы прекрасно плавают.

— А как же в мультике про гусей?

— Не про гусей, а про заколдованного Нильса, — поправил его Митька.

— Ты ещё тут, — Витька замахнулся, но ударить не посмел.

— У него же волшебная дудочка была, — сказала я, понимая, что Витьке от этого легче не станет.

Он ещё несколько раз закидывал бедную крысу в воду, бросал в неё камнями, но ничего не помогало: ненадолго уходя под воду, крыса выныривала и снова выползала на берег. Митьке надоело стоять без дела, и он принялся швырять камнями в запуганного зверька. Теперь не он, а крыса была в роли жертвы. И Митьке это понравилось. Осмелевший Витька обратился ко мне:

— Помогай, а то так и будем здесь торчать.

Я всегда отзывалась на призыв о помощи, но не в этот раз. Нехотя подняла камень и бросила. Кусок грязи рассыпался в воздухе.

— По-моему, ничего из этого не выйдет.

Митька с нескрываемой радостью бомбил поверхность лужи, выцеливая крысиную голову. Это был тот редкий случай, когда братья действовали заодно. Мне было не по себе от такого единения. Всё больше наливаясь злостью от собственного бессилия, Витька всерьёз намеревался уничтожить крысу. Весь день он носился с ней, гладил и кормил из своих рук. «Говорят, что крысы — хитрые и умные животные. Куда ты лезешь? Беги! Беги!» — с досадой думала я. Но крыса возвращалась к Витьке как приговорённая. У неё напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения. Похоже, она признала в нём

своего хозяина. И тут из-за моей спины неожиданно возникла фигура в брезентовом дождевике.

— Чем это вы здесь занимаетесь? — пробасил незнакомец.

— Да вот в «махнём не глядя» белую крысу выменял, а батя ругается. Утопить велел, а она, зараза, не тонет, — пожаловался Витька и с тайной надеждой уставился на прохожего.

— Понятно. Давай её сюда, — мужик выкинул вперёд длинную ладонь, зажал в ней крысу и опустил в глубокий карман тяжёлого плаща.

Лицо человека я так и не увидела, мешал наброшенный на голову широкий капюшон с отворотом. Это был деревенский пастух. Он пригнал стадо и шёл в свою покосившуюся избушку, которая стояла на отшибе. Перекинутая через плечо длинная плётка спускалась с его спины и тянулась по земле крысиным хвостом, сбивая утяжелённым жалом фиолетовые ирисы. Не веря, что мои мучения и мучения крысы закончились, я зазевалась, глядя ему вслед. Братья уже рванули в сторону дома. Пришлось догонять.

Витька с радостью доложил отцу, чем закончилось дело. Дядя Вася обозвал пастуха малахольным. Сразу же после ужина легли спать. На ночь все окна в доме закрывались. Почему — не знаю. Оставалось распахнутым только окно на кухне. В тесной детской было не продохнуть. Братья расстелили на полу перину и быстро заснули. Расправа над крысой их явно не беспокоила. Через пятнадцать минут Митька уже лежал поперёк постели и закинул ноги на подушки. Витька скатился с перины и упёрся головой в стену. А мне в сизом полумраке оконного проёма мерещилась улыбающаяся крысиная морда в капюшоне. Наконец тучи сомкнулись, крысиная морда исчезла, и хлынул спасительный дождь. Запахло свежестью, но ненадолго. Я слышала, как кто-то из взрослых встал, чтобы закрыть створки кухонного окна.

## Геннадий Васильев

### СРЕТЕНЬЕ

Вот и встретились они, вот и встретились!  
 Вот зима идёт к весне на поклон.  
 Это Сретенье, дружок. Это Сретенье.  
 В храме Анна и старик Симеон.

Свечи плаваются, но плакать не хочется.  
 Всё притихло, только воздух дрожит.  
 И сказала старцу Анна-пророчица:  
 «Что ниспослано — свершить надлежит».

Симеон кивнул. Рукою коричневой  
 по губам провёл — и выдохнул слог.  
 В храм вошли. Внесли младенца. Коричною  
 окропил его водою. Порог

преступали за Марией с Иосифом  
 иудеи. И стояли, тихи.

Свечи плавилась. Ладони, как озеро,  
 Симеон сложил: «Да будут грехи

нам отпущены!» Щепотью коричневой  
 осенил младенца, на руки взял.

Спал младенец. А Иосиф с Мариею,  
 преклонив главу, признали: «Сказал!»

И обратно чадо приняли. Старец же,  
 на пророчицу взглянув, обронил:  
 «Что ниспослано — то с каждым и станется!»  
 Двери храма за собой затворил.

Анна глянула вослед. Старец согбенный  
 уходил. Она смотрела, дыша.  
 ...Вот и встретились. Под небом изогнутым  
 истончалась, испарялась душа.

\* \* \*

Я ушёл далеко. Мне уже никогда не вернуться  
к этим рифмам случайным, слепым наслоениям смыслов,  
к той стыдливой покорности, строгому стилю листа  
ослепительно белого, чья белизна — непорочна.  
Мне уже не вернуться туда, где начало неясно,  
где едва разглядел продолженье носивший панаму,  
хоть невнятен был слог, и любви не хватало — такой,  
чтобы всё — на костёр! Чтобы пеплом подёрнулись угли!  
Не хватало любви. И избыток покоя палитру  
обеднял, не давая из точек сложить многоточье.  
Всё случилось потом, когда жизнь разжевалась ковригой  
из муки с отрубями ржаными, а чаще — с мякиной,  
когда соли — полпуда, а сахара — с полкилограмма.  
Когда не было сил, чтобы рифмою прозу покрасить.  
Но случилась любовь, и её оказалось довольно,  
чтоб ковригу сжевать, чтобы сердце скрепить на разрыве.  
Милосердье листа обрело состоянье и смысл.  
Я его белизну опорочил, покорность нарушив.

Я теперь далеко. Здесь беда над бедою горюет,  
здесь безумствует варвар, и Время грозит катаклизмом.  
.. Чем богаче палитра — тем чётче, точнее мазки.  
Я уже не вернусь.  
Да и некуда мне возвращаться.

\* \* \*

Два часа осталось до полудня.  
Но и в полдень стрелка не замрёт.  
Пахнет революцией и блудом.  
Шлёт приметы сумеречный год.

Птица ли стекло разбить стремится,  
кошка ли от мышки убежит,  
сон дурной под пятницу приснится,  
пёс чужой погибель ворожит, —

всё — беда. И нам не отвергётся.  
Но светильник веры негасим.  
Дотянись, достань рукою сердце —  
и отдай кому-то. Насовсем.

\* \* \*

Прочна связующая нить,  
а всё же рвётся.  
Не торопитесь уходить.  
Пусть вам живётся.

Пускай живётся нелегко  
под волчьим взглядом.  
Не уходите далеко,  
побудьте рядом.

Вас так немного, горсти две,  
ну — три от силы.  
Мятежный век хлопочет  
в поисках мессии.

Стреляют пушки, бьют часы.  
Конец эпохи.  
Дела не то чтоб хороши —  
скорее, плохи.

Так зыбко связывает нить  
сердца больные.  
Не торопитесь уходить  
в миры иные.

Ни от окошка, где — звезда,  
ни от крылечка  
не уходите. Никогда.  
Живите вечно.

\* \* \*

А помнишь, ровесник, как мы собирались в пивнушке  
И как наших кружек касались соседские кружки?  
И пили мы пиво (и только ли пиво мы пили?).  
Мы жизни слепили. Мы разные жизни слепили.

Я был в тех местах, где тебе побывать не случилось.  
Я сказку писал. На колу колыхалось мочало.  
Ты был там, где я не бывал, где и быть мне не нужно.  
Какая там дружба, ровесник? Какая там дружба?..

Истоки — как токи: то бьют, то — бессильны и робки.  
Травой зарастают к истокам и тропы, и тропки.  
А мы всё блуждаем, как пьяные, рощей и лугом,  
и, жаждой томимы, никак не отыщем друг друга.

Травы не сорвём и прозрачный родник не разыщем.  
От старой пивнушки осталось одно пепелище.  
И кружки уже не стучат о соседские кружки.  
Какая там дружба, ровесник? Какие пирушки?

Глубокая ночь. На дома опустилась истома.  
Я дома, ровесник. А ты, мой ровесник, не дома.  
И дом твой далёк, твоя крыша и твой палисадник.  
И в кружке пивной только пена пивная осядет.

\* \* \*

Старик гуляет с пуделем. А пудель  
со стариком гуляет. Связь прочна  
и никогда разорвана не будет.  
Ни поводка. Ни белого пятна.

Старик идёт, снег палкой попирая.  
Собака машет крыльями ушей.  
(Сама с собою в поддавки играя,  
судьба готовит новое клише.)

Я подошёл к нему. Он смерил взглядом  
меня, а пудель около прилёт.  
— Вы здесь живёте? Рядом? — Где-то рядом, —  
он усмехнулся. — Что тебе, сынок?

Я вдруг смутился. Я хотел о многом  
его спросить. Вопросы не нашёл.  
— Что ж, хорошо. Тебе — твоя дорога,  
а мне — моя, — и Агасфер ушёл.

Он уходил, следов не оставляя,  
на древний посох палку заменив.  
Он удалялся. Тени удлинялись.  
Он уходил. И чёрный пудель — с ним.

## Оксана Горошкина

\* \* \*

Прихожу к редактору отдела поэзии.  
 Платье красивое надела.  
 Цацки разные.  
 Губы накарсила.  
 Всё как надо, в общем.

А он сидит — строгий-строгий.  
 С двумя высшими образованиями.  
 Кандидатской и докторской.  
 Очки поправляет.  
 Страшно.

— Ты, — говорит, — стихотворение.  
 Тебя издали в толстом журнале.  
 На двадцать второй странице.  
 Разослали во все библиотеки.  
 И даже в магазины.  
 И даже за рубежом.  
 Уже ничего не исправить.  
 Слишком поздно.

— Как же, — спрашиваю, — вы это издали?  
 Мысль не раскрыта.  
 Финал смазан.  
 Штамп на штампе.  
 Многоточия в каждой строке.  
 А тут вообще запятая пропущена.

Молчит.  
 Смотрит из-под очков хитро-хитро.

А потом проходит несколько лет.  
 Я иду в библиотеку.  
 Нахожу журнал.  
 Раскрываю на двадцать второй странице.  
 Читаю.

—А ничего,— говорю,— симпатичное.  
Ну, подумаешь, мысль не раскрыта.  
Ну, подумаешь, многоточия в каждой строке.  
А что финал размытый — так это даже плюс.

Беру карандаш.  
Вычёркиваю слова.  
Пишу новые.  
Пишу новые.  
Пишу новые.  
Ставлю запятую.

Ну вот. Теперь другое дело.

Потому что

кому нужно маленькое стихотворение —

в каком-то журнале  
на какой-то полке  
какой-то библиотеки, —  
кроме него самого?

\* \* \*

Допустим, есть у меня рука.  
Допустим, что две руки.  
Допустим, взяв себя в две руки,  
Топаю вдоль реки.

Допустим, теплится в жилах ток,  
И в небо на «раз» и «два»  
Нырятся селезень-поплавок —  
Выныривают слова.

Допустим, что под ногами грязь  
В каждом из долгих дней.  
Но жизнь опять происходит в нас,  
И нет ничего важней.

\* \* \*

приплывает ко мне ламантин ламантин  
человек говорит один  
ты один ты один ты один ты один  
повторяет мне ламантин  
от рождения до седин

и ни друга вокруг ни врага ни врага  
ни любимого ни врага  
у тебя лишь пурга да ещё пурга  
да одна да вторая нога  
да рука да ещё рука

и такой прям в лицо рассмеётся мне  
бугагашеньки  
бугага

ты один говорит ламантин ты один  
ты один ты совсем один

хоть в четыре глотки кричи человек  
хоть ори ты в четыре рта  
не изменится ни шиша человек  
не изменится ни черта

уплывай ламантин говорю я ему  
да протягиваю суму  
уплывай давай в глубину во тьму  
да протягиваю тюрьму

да один говорю ему ламантин  
да один чёрт возьми один  
ну и что говорю ему ну и что  
да протягиваю пальто  
надевай пальто говорю да плыви  
в те пределы где нет никто

и тогда надевает пальто ламантин  
и красивый как бригантин  
прям в пальто уплывает вдаль ламантин  
порожденье морских глубин

и тогда остаюсь я совсем один  
в обступающей тишине  
я один повторяю один  
я один  
я один я один  
я не

## ГИПСОВАЯ БАБА

В самой середине старенького парка,  
там, где говорильник громко говорит, —  
умница, красотка, просто пролетарка —  
гипсовая баба на виду стоит.

А через аллею, аккурат напротив,  
там, где нету урны (дворник, не блажи!),  
несравненный, будто Депп на развороте,  
восседает молча бронзовый мужик.

Мимо ходят люди с телом и мозгами,  
и другие ходят (эти без мозгов),  
держатся за руки, говорят словами  
только про большую чистую любовь.

Ведь у них веселье вечного масштаба,  
ведь у них весною — бьётся и дрожит.  
Но не смотрит нежно гипсовая баба,  
и совсем холодный бронзовый мужик.

Нет, они не будут страстно целоваться,  
не поедут в Сочи или в Геленджик,  
потому что так-то ей уже не двадцать,  
да и не подходит бронзовый мужик.

Бабе, если честно, хочется, ребятки,  
больше в Алатау или на Памир,  
но через два года кто-то из рогатки  
ей отстрелит ухо и напишет: «Мир».

А красавца ночью прямо через лужи  
на цветмет тихонько отнесут бомжи  
(потому что если бабе ты не нужен,  
то другим сгодишься, бронзовый мужик).

Долго будет баба пребывать в расстройстве,  
будет думать: «Прихоть или влюблена?» —  
а потом приедут из благоустройства  
и поставят деда ей из чугуна.

\* \* \*

Едва знакомы, и я не смею  
назвать при встрече тебя «малыш».  
Я стала старше, я стала злее,  
но ты всё так же во мне звучишь.

Плевав на дразги и пересуды,  
мы неизбежно сведём мосты.  
Я всей душою стремлюсь отсюда  
в начало лета — туда, где ты.

До скорой встречи! И мне не важно,  
кто там был раньше в тебя влюблён.  
Мой самолётик пока бумажный,  
но я однажды взлечу на нём

над проводами, людьми, дворами,  
как стюардесса — тонка, легка.  
Ничто не сможет меня поранить,  
пока я выше, чем облака.

Пока играет внутри такое —  
вне всяких правил и партитур.  
Я исцеляю себя тобою  
и не желаю других микстур.

Закончу песню, сложу пюпитр  
и выйду смело в большую жизнь.  
Мой милый Питер! Любимый Питер!  
Я скоро буду! Дождись! Дождись!

\* \* \*

Эта женщина из прекрасных снов,  
Приходи со мной почитать стихов,  
Приходи справляться на «три» и «пять»,  
Приходи в проёме окна стоять,  
Говорить о разном и об одном,  
Забываться песнями и вином,  
Узнавать, чем дышит живая плоть,  
Не мешки таскать, но слова полоть,  
Не бояться старости и любви —  
Приходи. И место моё займи.

## Геннадий Калашников

\* \* \*

Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,  
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,  
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,  
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, —  
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,  
а после пламя прошло насквозь, пламя прошло насквозь;  
огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,  
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, —  
и это всё будет сниться мне, покуда я буду жить;  
какая же мука — спать в огне, гудящим пламенем быть,  
когда-то закончится этот сон, уймётся пламени гуд,  
и я вскочу в золотой вагон, везущий на Страшный суд;  
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,  
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

\* \* \*

Пока ещё не лёг на снег последний вечер,  
пока ещё ледок прихватывает след,  
остановись со мной, мой самый первый встречный,  
поговорим — пока и воздух есть, и свет.

Пускай в морозный день восходят наши души,  
в извечном их родстве свой обретая путь.  
Так говорить легко, легко молчать и слушать,  
слова находят плоть и раскрывают суть.

За время, что займёт случайная беседа,  
неуловимо день изменит свой узор,  
здесь места больше нет, исчезли мы бесследно,  
но в воздухе пустом всё длится разговор.

## КАМЧАТКА

Растёт из языков подземного огня  
колючих гор — за острой складкой складка.  
Вулканами дымясь, туманами сипя,  
из горьких вод вздымается Камчатка.  
Здесь сотворенья гул. И россыпью углей —  
малиново светящийся кипрей.  
Здесь молода земля — ещё в ходу букварь,  
опять учусь читать, читаю: «Твердь» и «Тварь».  
И прочно ляжет твердь, и встрепенётся тварь,  
и магма забурлит, ища себе исхода.  
Горячий алфавит и каменный словарь —  
у слова и горы единая природа.  
И слово, и скала: есть грани — нет границ,  
в колючие хребты впрессованы эпохи.  
Гортанный рёв реки, габброид и гранит  
переплелись в кузнечной суматохе.  
Оранжевы снега над тесной далью горной,  
где выхвачен восход из пышущего горна.  
И гулко бьёт прибой, как молот паровой.

\* \* \*

Как жука из коробки,  
достаю очередное слово  
с усиками суффиксов,  
рогами приставок,  
золотым хитиновым корнем,  
перламутровым окончанием.  
По всем законам физики  
оно не может летать.  
И всё же взлетает,  
оставляя стремительный росчерк,  
и гудит, и жужжит, и стрекочет.  
От Белева летит до Формозы,  
совершая метаморфозы,  
во мрак впивается шутихою хвостатой,  
царапиной, цикадою, цитатой;  
светящиеся петли этих странствий  
загадочней каналов марсианских.  
И не сгорает, не сгорает, всю горя,  
как Фет сказал: не жаль того огня...  
Всё остановится. Всё перестанет длиться.  
А оно всё будет летать, трепетать, светиться...

\* \* \*

Жить у железной реки возле станции...  
Мастер в депо это облако выточил  
Над полустанков тоской арестантскою,  
Как у Платонова в прозе избыточной.

Сумма слагаемых — мелких, непрошенных,  
Что промелькнут меж вагонов и строчек, —  
Насыпь со рвом и травой некошеной,  
Анны Карениной красный мешочек.

Ясень неясный, как всадник в распутицу,  
Воздух плацкартный, доверху затаренный,  
Дождь, привязавшийся к позднему путнику,  
Рельсы в тяжёлой, холодной испарине.

Может, подскажешь, начальник дистанции,  
Сцепщик вагонов, обходчик и стрелочник,  
Сумма слагаемых высшей инстанции —  
Что ещё там набежало по мелочи?

Точка отсчёта, наверно, пропущена,  
Как у топографа в створках планшета,  
Жизни курьерской с огнями бегущими,  
Прогрохотавшей вот так, без сюжета,

Лишь поманившей и синью, и сталью,  
Облаком светлым с изнанкой морозной...  
Тускло мерцают сквозь сумрак вокзальный  
Раскрытые органы тепловоза.

Проблеск железной реки без течения,  
Прописью сумма: пакгауз, барак,  
Путеец бредёт в полосе отчуждения,  
Солнце садится. Не сядет никак.

\* \* \*

Дождь переходит в снег, а снег  
обводит мелом дороги и кровли...  
Мы с тобой давно задумывали побег  
туда, где крестьянин свои обновляет дровни.

Нет, наверно, задумывал я один,  
прослышав о счастье, покое, воле,  
сам себе царь, себе господин,  
но — один всего лишь на миг — не боле:

ведь и в глуши очерченных мелом лесов,  
застывших с разбегу рек, в тесноте просторов  
ты расщепляешься на множество голосов,  
ведущих невнятные разговоры и бесцельные споры.

Всё то, что читал, что тебе напевала мать,  
что сверстник рассказывал, невпопад, украдкой,  
всё это не спит и мешает спать,  
листает, нервничает, шуршит закладкой.

Ты тёмную реку переходишь вброд,  
ища во тьме огонёк папиросы,  
словно на берегу тебя поджидает тот,  
кому задаёшь и на чьи отвечаешь вопросы.

При чём здесь крестьянин, и санный след,  
и пушкинский почерк по белому белым?  
Татуировка синее: мол, счастья нет,  
а есть только свет и тьма, обведённые мелом.

Мы живём впотьмах, впопыхах, и весь этот мир,  
где досужий крестьянин успел обновить свой полоз,  
всего лишь эхо, неясный, зыбкий пунктир,  
надтреснутый, запинаящийся, негромкий голос,

говорящий чудную, чуждую весть  
о том, что ты здесь и уже с пути не собьёшься...

— Господи, — пробормочешь, — если Ты есть...

И тут же заткнёшься.

\* \* \*

Вижу в небе звезду, всего одну —  
незадачливый звездочёт —  
я иду под водой, иду по дну  
той реки, которая не течёт.  
Этот хрупкий луч из небесных круч,  
этот древний зелёный свет,  
не дающийся в руки желанный ключ  
от того, чего нет  
ни среди живых, ни среди иных,  
в никуда уходит, маня.  
Я на берег выйду и встречу их,  
тех, кто вышел встречать меня.

\* \* \*

В притихшем парке вдалеке  
оркестр играет под сурдинку,  
моторка на Москве-реке  
стучит, как швейная машинка.

Мне жаль осеннюю швею,  
она весь день кроит, кромсает.  
Твою судьбу, судьбу мою  
швом сострочить не совладеет.

Струят последнее тепло  
сухие плиты парапета.  
Спрошу — и не дождусь ответа,  
и лето в Лету отошло.

Над попрозрачневшей водой  
под тонким небом серебристым  
мелькают велосипедисты  
по эстакаде ветровой.

Они промчатся вдаль и в тень,  
и в колесе сольются спицы.  
Запомнить музыку и день —  
он никогда не повторится.

\* \* \*

Вдоль по обочине грязи брильянты,  
мёрзлых полей домотканых холстина,  
солнце сквозь облако, как у Рембрáндта  
крепкая пятка блудного сына.

Манят поля, эти пажити, просеки,  
красный, немного всплакнувший суглинок,  
венецианские синие проблески  
с охрой голландской, фламандским кармином.

Было легко и с водою проточною,  
с ветром, от стужи сутулым и пьяным.  
Время струилось часами песочными,  
жизнь прошуршала по колбам стеклянным.

Всё позади — и вокзалы, и палубы,  
угли костров и остывшие клятвы,  
на горизонте леса, словно жалобы, —  
так же случайны и так же невнятны.

В общем, ни прибыло жизни, ни убыло,  
да и не важно — чуть больше, чуть меньше,  
чтобы в хламиду отцовскую грубую  
крепко уткнуться лицом помокревшим.

## Александр Левченко

\* \* \*

Весенним томленьем сердце наполнит  
 Аромат сирени цветущей,  
 В сумерках майских нежных  
 Бродят юные пары,  
 А я у калитки стою и слушаю с грустью,  
 Как, тихо шурша, песок из задницы сыплется.

\* \* \*

Долгожданная мудрость с годами приходит,  
 Простые радости жизни  
 Иначе теперь осмысляю...  
 Козявку большую из носа достал,  
 Смотрю на неё в изумленье.

\* \* \*

Широка, глубока река Енисей,  
 Но вряд ли глубже бутылки с водкой, —  
 Подумал я и вздохнул тяжело.

\* \* \*

Капля дождя на ладони...  
 Долго смотрю на неё,  
 И открывается великая тайна  
 Гармонии мира...  
 Молнии эзотерических истин  
 Вошли в моё сердце,  
 Сознание моё  
 Космические вихри охватили.  
 Я потерял своё «Я»  
 И, не в силах владеть собою,  
 Ладонь сложивши в кулак,  
 Прохожему в ухо заехал.

## ВЕСЕННИЙ ТРИПТИХ

I.

Солнышко еле светит,  
от холода съёжившись,  
Вороны простуженные  
чуть слышно каркают.  
Я пью чай с малиной,  
зябко вздрагивая,  
И мечтаю о днях,  
когда зима закончится,  
Когда на улице  
я буду плясать от радости,  
Целоваться с собаками  
соседскими долбаными,  
Нужду справлять с ненавистью  
на снег недотаявший  
И пустыми бутылками  
сбивать сосульки последние.

II.

Коты запели, и сирень цветами покрылась.  
Я хожу по улицам лёгкий, почти невесомый.  
Будто бы мир наполнился музыкой нежной и тихой.  
Чувствую, не быть мне трезвым сегодня.

III.

Когда окованные в бронежилеты  
Милиционеры  
Грубо волокли меня  
К машине вырезвителя,  
Я, из последних сил вырываясь,  
Продолжал воспевать весну  
Во весь голос!

\* \* \*

Обречены на поражение попытки  
Воссоздать на холсте подобие жизни.  
Вечернее солнце освещает  
Мои мертвенно вросшие в задницу руки.  
Я пишу пейзаж.  
На громадную жопу борца сумо  
Хрупкая бабочка села —  
Красота с грубой силой в мирном соседстве!

\* \* \*

С тремя монахами из Шаолиня заспорил  
На предмет сомнений в истинности их ученья.  
Теперь лежу на берегу реки,  
Ударом пятки в лоб ошеломлённый,  
А надо мною в небе месяц молодой и звёзды.  
И чувство странное,  
Как будто в первый раз всё это вижу.

\* \* \*

Летняя ночь, мир и покой над деревней.  
Где-то калитка стукнула,  
Вполголоса лает собака.  
Нежный запах черёмухи в воздухе,  
Девки поют вдалеке.  
Напильником подправляя топор,  
Сижусь на крылечке с двухтомником Ницше.  
В тихие летние ночи так хорошо  
Размышлять...

\* \* \*

Самураем себя представляю,  
Благородным, красивым и сильным.  
Или учителем древней борьбы,  
Взмахом ноги врагов повергающим в ужас.  
Но в зеркало гляну — плюну в сердцах  
И горько навзрыд заплачу.

\* \* \*

Предаяюсь утехам французской любви —  
Лягушек объевшись,  
К бабе своей целоваться лезу.

\* \* \*

Всегда так: выпью —  
И в небо душой устремлюсь,  
А тело забытое валяется где попало.

\* \* \*

Сотканный из лунного света,  
Силуэт соседского кота  
Возвращается с блядок.

\* \* \*

Мерцает загадочно сумрак вечерний,  
Опадает листва, что-то шепчет невнятно,  
Тайны исполнены древние книги...  
Вот куплю пистолет, и всё станет понятно

\* \* \*

Я ветер поймаю, сожму его в кулаке,  
Он затрепещет в ладони моей, вырываясь...  
И с ветром в руке я буду ходить, как дурак,  
Размышляя, куда б его взять да засунуть...

\* \* \*

Медитация — это чудо:  
Могучим усилием воли  
Выпитуя рюмку  
Я превращаю внутри в пол-литру  
И с улыбкой довольной и хитрой  
Под столом в нирване валяюсь,  
А жена лишь моргает растерянно.

\* \* \*

Апрельское тёплое солнышко  
Снег последний растопит  
И все до одного  
Члены тела согреет.  
Настежь окно распахну  
И водки от радости выпью,  
В пятитысячный раз  
Супруге в любви признаюсь.  
Похоже, и вправду весна наступила...

\* \* \*

Остановилась драка.  
Замерли на миг могучие мужики —  
Клин журавлиный над деревней!

\* \* \*

Покрытую цветами ветку сакуры  
К лицу поднёс,  
Водки выпил — занюхиваю.

Михаил Мельниченко

## Про это

\* \* \*

Я ушёл куда-то в никуда,  
 Просто сотворилось чудо.  
 Ты ко мне явилась ниоткуда,  
 Может, это выпала звезда,  
 Может,  
 Мы с тобой смотрели в небеса  
 И в глаза смотрели, внутрь друг друга.  
 Если есть на свете чудеса,  
 Основное чудо — ты, подруга!

Мы ушли куда-то не туда,  
 Мы с тобой вернулись ниоткуда...  
 И гудели в небе провода,  
 И звенела, чокаясь, посуда.

\* \* \*

И к нам прикоснулась Лира  
 Крылом величайших имён.  
 Ты девушка тонкого мира,  
 Я юноша диких времён.

И в нас отразились, как слепки,  
 Касания этих знамён.  
 Я юноша хлипкий, но крепкий,  
 Бессильным безумьем силён.

Цветок ты красивый, но хрупкий.  
 И в этом твоя правота.  
 Сокрыта непрочной скорлупкой  
 Открытой души красота.

И нет нам ни дна ни крышишки,  
 Начало в нас есть, нет конца.  
 Дойдя до вершины, до вышки,  
 Продолжим дорогой кольца.

\* \* \*

Какая дверь, скажите, не скрипит?  
Какая баба мужа не ругает?  
Какая ведьма ночью не летает?  
Какая фея днём не спит?

Какой поэт спокойно засыпает  
И головы над строчкой не ломает?  
А если вдруг забудется, заснёт —  
Куда его, беднягу, занесёт?

Всегда, наверно, так бывает,  
Иначе и не может быть...  
Какая баба мужа не ругает?  
Какая дверь, скажите, не скрипит?

### СКАНДАЛ

Я трезвый был — я не был пьян.  
Я стал стихи читать жене.  
Она в ответ: «Заткни фонтан!» —  
Что оставалось делать мне?..

Фонтана нет — я кран открыл.  
Я полквартиры затопил.  
Жена увидела — и в крик!  
Схватила тряпку в тот же миг...

И стала воду собирать,  
А я ей начал помогать.  
Мы долго воду собирали,

Но вот собрали и устали.  
«Прочти стихи», — жена сказала,  
Как будто не было скандала.

\* \* \*

Как вы прекрасно сшиты,  
Руки моей любимой.

Как ты отлично вырезан,  
Мне самый близкий лоб!

Как вы прекрасно вылеплены,  
Губы моей любимой!

Как ты несносно склеен,  
Характер моей жены!..

\* \* \*

Прочти моё стихотворение,  
Оно пошито для тебя  
Из слов любви и откровения,  
От января до декабря.

Хоть говорят: и слов не надо! —  
Но как без слов? Без них никак!  
Они — отрада и награда,  
Они — и звук, они — и знак.

Войди в моё стихотворение,  
Его выстраивал я сам.  
Войди как в новое строение  
И новосельствуй ныне там.

Там, между строк, так много чувства  
С вопросом вечным: быть, не быть?  
Там не кончается искусство,  
Оно там остаётся жить.

Забудь моё стихотворенье...  
Нет, нет! Отнюдь не забывай!  
Отбрось смятенье и сомненье  
И вновь, и вновь перечитай.

\* \* \*

Четыре глаза дал нам Бог,  
Четыре уха — на двоих,  
Чтоб глаз увидеть чудо мог,  
А ухо — чудный слышать стих.

Две пары рук, две пары ног  
На нас с тобою выдал Бог.  
И дал большое счастье жить,  
Чтоб вместе всё соединить.

\* \* \*

Вот живу, года листая,  
Пролетала девок стая,  
Зацепился за одну —  
И вдвоём идём ко дну.

\* \* \*

Он женат безвыходно,  
Она замужем безысходно.  
Он всё ищет выхода,  
Но она не даёт ему входа.

### ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ

А что касается касательств,  
Я не касался их совсем.  
Я полюбил без доказательств,  
Хотя любитель теорем.

Любовь, она подобна дому  
И достаётся нам с трудом.  
Я принял то как аксиому,  
Хоть не любитель аксиом.

Любовь, она подобна шару  
И нескончаема, как шар,  
Как плоскость к перпендикуляру,  
И ключ к ней — перпендикуляр.

\* \* \*

Ты на меня бросала взгляды.  
Я на тебя бросал их тоже.  
Могли мы быть друг другу рады,  
Когда бы был я помоложе.

Через минуту мы расстались,  
В свои ты укатила дали...  
А на земле лежать остались  
Те взгляды, что мы побросали.

\* \* \*

Стекло — обман для насекомых,  
А зеркало — обман для дам.  
О, сколько их, моих знакомых,  
Поверило своим глазам.

\* \* \*

Тебя пора наградить  
Медалью «Жена-героиня»,  
А мужу твоему вручить  
орден Блудного сына.

## Дмитрий Филиппенко

## БАРАК

Я помню деревянный свой барак,  
Посёлок Дачный. Детства акварели.  
Трещало время, цвёл в стране бардак...  
И как за десять лет мы не сгорели?

Троллейбусы шуршали за окном,  
Наш дом трясло, но мы не замечали.  
Сосед за стенкою по кличке Гном  
Повесился от горя и печали.

Я вырос, у меня давно семья,  
Своя квартира, во дворе осины...  
Но помню, у дороги плакал я:  
Сносили детство, мой барак сносили.

## ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ ГОД

Я хороший, день плохой.  
В плеере играет Хой.  
Девяносто пятый год.  
Задыхается завод.

Я подстриженный под бокс.  
Спит в розетке «Фумитокс».  
Под зарплату рис, мука,  
Сахара по три мешка.

А в деревне огород.  
Баба ждёт, и деда ждёт.  
Каждый вечер пироги  
И рыбалка у реки.

Девяносто пятый год.  
Загибается народ.  
Чёрно-белая страна...  
Без деревни нам хана!

## Мечта

Когда мне было восемь лет  
И я хотел быть гитаристом,  
Отец готовил мне омлет  
И называл большим артистом.

Любил я песни Кузьмина,  
Был микрофон, точнее, плейка,  
Была гитарой для меня  
Коричневая мухобойка.

Ночами детскими мечтал,  
Что я в Москве пою на сцене,  
Что группу назову «Портал»  
И что Кузьмин её оценит.

С тех пор прошло немало лет,  
Я стал шахтёром и поэтом.  
Жена готовит мне омлет,  
Но нет мечты, и папы нету.

\* \* \*

Идёт по шахте человек —  
Как будто в ней живёт.  
И путь его длиною в штрек  
Закончится вот-вот.

Свернёт на путевой уклон  
И выйдет на-гора.  
Стране свой первый миллион  
Он выдал в шесть утра.

Идёт герой по ламповой —  
Счастливый человек.  
Он бригадир, он деловой,  
Но жизнь — длиною в штрек.

\* \* \*

Подземный космос тоже по плечу,  
Светильники мерцают, словно звёзды.  
Начальник по фамилии Ткачук  
Во всей вселенной сотрясает воздух.

Бурление космической реки,  
Но не бывает здесь погоды хмурой.  
Шахтёры — это значит мужики  
Без пафоса, без шоу и гламура.

А дома жёны держат кулачки,  
Подземных космонавтов ждут с работы.  
И в космосе летают светлячки,  
Роскосмос им не запретит полёты.

\* \* \*

А в шахте зреет виноград —  
Он чёрный, крупный и блестящий.  
Стремится к солнцу на-гора  
Кормиться светом настоящим.

Легла инертная мука.  
Зима на шахтном континенте,  
Но виноградная река  
Бежит по скороходной ленте.

Бежит во власти куража  
И пахнет угольной ванилью.  
И благодатный урожай  
Плывёт под виноградной пылью.

\* \* \*

Гнётся к воде загорелый рассвет,  
Словно небесный телёнок.  
Тянется времени прожитый след  
Из васильковых пелёнок.

Тает в реке облепиховый свет,  
Переливается с вишней,  
Йети меж сосен ползёт силуэт,  
Ёжики снежные вышли.

Ели уснули в зелёной нуге,  
Пахнет травой земляничной.  
Как же уютно в сибирской тайге,  
Сказочно и гармонично.

\* \* \*

Сегодня в шахте выпал снег  
На штрековую мостовую.  
И моторист обнял во сне  
Конвейерную хвостовую.

Сопит стареющий насос,  
Откашливая снег и воду.  
Сердитый босс-молокосос  
Кричит на всех и на погоду.

Стихи висят на венттрубе.  
Их горный мастер вытирает.  
Шахтёр рифмует о судьбе.  
Судьбу шахтёр не выбирает.

Ольга Немежикова

## Верный

На вершине лысой горы, как нарисованная, стоит небольшая часовня. Воздушная, белоснежная днём, она сейчас сливается с тусклым небом: зеленоватая резная свечка среди сине-зелёной степной травы. Гора высокая, Караульная, и ювелирное украшение на ней видно с любой точки родного города. В нём давно у меня никого не осталось.

С запада рваным оловянно-рыжим фронтом медленно наползает гроза. Красиво. Но уж очень тоскливо. И в мыслях не было сюда возвращаться. Когда-то хотела, рвалась. Теперь — зачем?..

В отчаянии закрыла глаза: прошлое жжёт... Но что-то случилось снаружи, я встрепенулась... И тут же зрачки захлебнулись огнём, как плеснули из медного таза. Это солнце прожгло в тучах линзу, спалило края и рвануло лавиной наружу. Брызнули слёзы, хотя чего уж тут плакать? Плачь не плачь — не поможет.

Что я здесь делаю? Что?..

Спасли, как всегда, ладони: где ещё прятаться? Только в своих руках. Да и вечерние лучи теперь мягко касались, скользили по пальцам, успокаивали, шептали, что всё образуется, — уговорили. Солнце уговорит хоть кого, как и встряхнёт, — на то оно и светило.

Никто не поверит, что я могла тебя так сильно любить. Ну и пусть. Это моя любовь. И хотя забыть нет никакой возможности, жизнь продолжается — надо вставать и идти. Вернулась — значит, в этом какой-то смысл. Солнечной вспышкой оглушило как следует: в голове фоновый звон. Ничего, сейчас всё поправится, подумала я, убирая с лица ладони, и обомлела: мир словно искупался в тёплом янтарном потоке и теперь остывал, насквозь пропитанный светом.

Над факелом золотой луковки блистал тоненький крест. Часовня казалась теперь восковой в переменчивых оттенках разогретого мёда, словно, пока я справлялась с ослепительным мраком, её заново вылепили из пчелиных сот. Скоро стекающий свет впитался в землю, факел потух, солнце надолго скрылось в чернеющих тучах. Опять превращение: тёплый воск обернулся матовым хрусталём, декорации потускнели.

Она всегда разная, наша часовня.

Вечереет. Вокруг никого. Странно... Закат именно здесь — любимое зрелище горожан. Видимо, не сегодня. Мы с тобой любили сюда приезжать. Да что там, бывали почти каждую неделю, наблюдая времена года. И с субботы на воскресенье было совсем не скучно возвращаться своим ходом до дома, вдвоём через весь город, нередко по темноте.

Сейчас закат тоже волшебный: живописный, цветной. Гроза если не обойдёт город, то приблизится только ночью. И тогда саданёт, прожигая трафарет вен на огромном чернильном сердце, и ветер, словно ворвавшийся мустанг, исхлещет стены домов струями с гривы и водопада хвоста. Грозы у нас всегда хлёткие, дикие, шепутные. Станным образом напоминают что-то далёкое и родное: во время грозы пронизывает меня восторг, будто рождаюсь из огня и воды заново.

Сейчас тихо, ни ветерка.

Город, похожий на макет, в дымке плывёт вдоль реки перламутровым маревом. Но скоро вспыхнут гирлянды автострад и мостов, замигает рекламное крошево, исчезнут строения и края чёрной ленты потонут в сиянии, уходя в темноту.

Насмотревшись на часовню и панораму, уверенно направляюсь к сходу, старому, деревянному: ещё с бабушкой вместе ходили, держась за едва живые перила. В нашу с тобой бытность этой лестницы не было — совсем обвалилась. Получается, кто-то восстановил, так что спустилась стремительно, почти что сбежала, вдруг заторопившись как на пожар. И теперь иду быстрым шагом по частному району, что как был, так и остался окраиной, потому что упирается в подножие скользкой красной горы.

Странно... Почему район до сих пор не застроен? Вокруг современные кварталы, со всех сторон толкаются небоскрёбы. А для меня город будто на шаг отступил, обнажив старую улочку за день поднос. Древние избы, от иных остались лишь срубы без крыш; заборы редко где сохранились. В рост лебеда с крапивой, полчища лопухов, полынные заросли. А я всё иду... Впрочем, перехожу мостик. Тот самый, через дикую речку-приток.

Часа полтора до темноты у меня есть. Странно... Что здесь не так? Только сейчас поняла: подозрительно тихо. В голове наконец не звенит — я словно попала в немое кино. И там, на горе... Ведь не слышала стрекота саранчи, обычно пронзительного, как трещотка! Саранча вообще на горе не скакала. Городской шум тоже не долетает. И птицы, те же вороньи ватаги, что в этих местах летом горланят и за полночь, как сквозь землю сейчас провалились. Голуби не нарезают круги. Не видать воробьёв. Кое-где между избами торчат полусухие тополя с лохматыми шапками грачиных гнёзд, тоже пустых. Даже собаки не лают! Если и слышу, то только себя, собственные шаги. Они тихие, лёгкие — я одета спортивно: штаны, анорак, кроссовки. За спиной небольшой рюкзачок. В нём что-то лежит. Что?

Я... возвращаюсь из похода?

Полыхнула догадка: пяточок не застроен лишь потому, что маленькая неукротимая речка не уместается в подземной трубе и каждую весну, собирая талую воду с огромной горы, вырывается на поверхность, подтапливает дворы. Настилы здесь всегда были подняты. В тёплое время года мы ходили как по мосткам.

Пока думала об этом, выскочила к родной одноэтажной улочке с избами. Незаметно спешка моя утихла — соседские дворы... В них и тогда жили одни старики — поиграть было не с кем, зато гостинцев хватало. Особенно радовалась я детским книжкам: зачитанным, потрёпанным, но с огромными рисунками на разворот! Хранила их аккуратной стопочкой, маленькие на тех, что побольше, и пересматривала на сто рядов. Но каждый раз с неподдельным интересом снова их открывала: детство умеет беречь тайну.

Большинство изб давно заброшены: сорваны ставни, выбиты стёкла, но, опять же, в дырах торчат фанерки, доски, плёнка, где-то тряпье. Явно дома обжиты гражданами без прописки. Или дети играют в войнушку: им здесь должно быть раздолье. А может, где-то и доживают век старики. Но пока никого не вижу, не слышу.

Местная дорога никогда не знала асфальта. Да он здесь и не нужен. Плотные глины за века утрамбованы до цемента: наша улочка — одна из первых в городе, слобода, ей почти четыреста лет. Редкий транспорт, подвозящий разве дрова для ещё живущих, выбить колею просто не в состоянии.

Приближаюсь... Шаг сам собой делается короче, медленнее, осторожнее...

Бабушкин двор!

Крепко стою на ногах, не шатаюсь, но... Что-то не так. Сколько лет прошло... Странный столбняк навалился: не могу понять, чем всё здесь пропитано. Нет, мне не страшно, просто должна понять. Тут другое... Отчего-то кажется, вокруг — смерть. Всюду, только попрыгала. Забилась седой паклей среди сохранившихся срубов, нарыла мышинные норы в зарослях сорняков, стелется паутиной по обломкам заборов. Будто прилетела с каким-то ветром и зацепилась за всё что ни попадя. Поглядывает на меня, изучает. Тихо, действительно тихо. Ни ветерка до сих пор. Как в могиле.

От когда-то глухого высоченного забора высотой в три метра и массивных ворот, на которых висело мощное кованое кольцо, остались только столбы. Потом прилаживали штакетник, он кое-где сохранился, не весь пошёл на растопку местным «лесозаготовителям». Дверца калитки обломана как печенье, будто кто-то, сбегая, снёс гребешок — торчат колышки реек.

А в далёком детстве блистала зеркалами в пронзительном солнце крытая жостью крыша! Гулкие самолёты отражались в ней тяжёлыми сонными мухами: за горой находился аэропорт. Теперь там его нет, блестящую жость растащили, остался дырявый толь. Такой же тёмный, как и почерневшие брёвна, как и чудом уцелевшие ставни, и резные наличники, когда-то небесно-голубые, в тех детских даях неизменно сияющие свежестью июльского неба. Даже среди лютой зимы. Как раз среди снежной, долгой, в полгода, зимы ярко окрашенное оконное убранство упрямо обещало лето.

А ещё над дверью сеней селились ласточки! Несколько пар! И щебетали, занимаясь потомством. Помню, лето начиналось с их возвращения и семейных хлопот над ремонтом жилья. Благо глины вокруг немерено — гора несметная. С отлётом ласточек лето кончалось. Теперь от их гнёзд остались лишь глиняные следы. Их видно, если знаешь, что это было.

Старая дичка-ранетка на месте — время словно забыло о ней. Пышная крона, рясно усыпанная бусинами беловатых, цвет ещё не набравших плодов — зимней радостью свиристелей и снегирей. Щедрое дерево до самой весны угощало перелётные стаи карминовыми ранетками. Как чудесно было услышать мелодичную нежную песенку зимних птиц кораллового цвета!

«Карл у Клары украл кораллы», — учила выговаривать сложные буквы бабушка, показывая круглых, как яблоки, снегирей. Только таких яблок я никогда не встречала. Но с детства знала, какого цвета настоящие кораллы и как они выглядят. Конечно, это бусины, и живут они среди подводных камней, усыпая их, как снегири ветки. А ещё кораллы собираются в длинные нити, подобно водорослям, и тогда нарядные тропические рыбки цепляют их на себя и уплывают, унизанные ожерельями! Потому что украшения кто-то обязательно должен носить, чтобы мир любовался, как мы с бабушкой любимся птицами. Вот Карл и не устоял — украл, потому что Клара кораллы спрятала и не надевала.

Свиристели гостили на нашей ранетке подолгу. Их трели какой-то непостижимой связью переливались в детской моей голове в узоры на окнах. Будто журчащая родничком птичья музыка стекала по стёклам, застывая капля за каплей, а мороз алмазным резцом творил хрустальные веточки, диковинные звездопады, пышные завитые страусовые перья. Зимний сад красовался над тропинкой зелёного мха, уложенного между рамами с осени до весны. Мох бабушка украшала гроздьями рябины и парой-тройкой золотых перистых листьев, проглаженных утюгом на углях. Если были у неё сухие опята, они тоже поселялись во мху. Птичья концерты я слушала, когда бабушка уходила из дома на рынок и по делам, а мне наказывала спать после обеда. Спать я, понятно, не хотела — ведь зимний день такой маленький! Но бабушку слушалась, да и пение птиц завораживало. Как в тёплый сугроб, зарывалась в лоскутное одеяло, выставив ухо, и незаметно приходил сон. Просыпалась, потягиваясь, под весёлую трескотню печки, когда бабушка, проветрив избу несколькими хлопками входной двери, щепала растопку, подкладывала дрова и готовила еду на вечер и завтрашний день.

Детская зима так и впечаталась в память пушистым снегом, небесно-голубыми наличниками, ставнями и двойными рамами, среди которых росли мох, рябина, опята и кружевные узоры. Ещё в той зиме осталась ранетка, которую бабушка, купив дом, не стала

пилить — сохранила для птиц. И благодарное дерево всякую весну благоухало снежно-белыми цветами. Кипень эта казалась живой от пчёл и шмелей, что гудели от зари до зари, пока трава не устилалась кружевом лепестков, над которым метались бабочки-белянки. Их ловили неумолимые воробьи на корм своим воробьятам. Желторотое трепыхание и чирикание утихало лишь к вечеру.

Я жила в мире прекрасных, родных, переменчивых звуков. А теперь их здесь нет. Тихо, как в погребу...

Вдруг во дворе, ближе к забору, я заметила то, чего быть не могло и в помине, — собачью будку. Бабушка собак не держала, как и кошек: брезговала. Видимо, будку построил кто-то другой. Из нестроганных досок, но без щелей, довольно крупная конура, со скатной крышей. Живёт ли в ней кто? Лучше подождать. Если там есть собака, то она непременно меня учует и себя покажет. Пока постою, понаблюдаю.

Солнце ещё не зашло, но город его заслоняет. Скоро настанет ночь. Что я здесь делаю?..

...Он медленно выполз из конуры, через силу отряхиваясь. Кобель, древний старик. Сразу видно: был когда-то крупный, мощный, лохматый, но от возраста исхудал, шерсть в колтунах, на локтях и коленях залысины. Зачем понадобилось трястись, ведь едва не упал?.. Ноги так и подкашиваются. Что же ты, друг, здесь делаешь? С кем обитаешь?

Собака, не привязанная, без ошейника, пошатываясь, сделала ко мне несколько шагов, пытаясь унюхать. Пёс был слепой... Шумно, всеми запавшими боками, втягивал воздух... И вдруг меня торкнуло: — Верный! Ты? Верный?

О нет, этого не может быть! Верный! Откуда? Я кинулась к псу, а он... Он сделал ещё несколько шагов и, узнав меня, мой голос и запах, невнятно, утробно взвыл и тут же бессильно кинул на землю зад, уронил как подкошенный. Всё на свете забыв, я обняла Верного, прижала к себе, очень бережно — он был еле живой... Дождался... Теперь не может ннюхаться, старчески пыхтит, тяжело, медленно дышит, пытается лизать лицо, руки, шею. Трясётся всем телом от переживания. Из последних сил шевелит хвостом.

Встав на колени, я обнимаю любимого пса, не могу отпустить, обливаясь слезами, и вдруг мне становится ясно: он тянул, ждал до последнего...

Сколько мог, пёс продержался в моих руках: боже мой... Мой «телёнок» ничего совсем и не весит... Ему и сидеть тяжело: упал... Хвост метёт по земле, слабо-слабо, но движется. Я ему:

— Верный, Верный! Не волнуйся, хороший, не надо... Это я, я к тебе...

Быстро скидываю рюкзак, внутрь забираюсь рукой. Так и есть! Там консервы для пожилых собак. Мгновение — вырвала с крышккой кольцо, в миску, которая тоже с собой, выбила содержимое. Так вот

что лежало в моём рюкзаке! Выходит, тот, кто собирал в дорогу, знал, кого должна встретить. Тут и вода в бутылке, и вторая для неё миска — налила полную.

Верный лизнул гуляш: мол, вкусно, так вкусно... Но есть пёс уже не может. Пару раз лизнул воду бесцветным почти языком из рук: подала ему, лежачему, пригоршней...

Только теперь обратила внимание: двигаясь навстречу друг другу, мы оказались у древней колоды — когда-то на ней, под ранеткой, бабушка колола дрова. Слёзы текут — села на колоду и смотрю на тебя. А ты глубоко вздохнул, успокоил хвост и задремал. Нет, не могу сидеть — устроилась на коленях поближе, глажу руками, перебираю спутанные пряди. Расчесать шерсть невозможно — старая кожа обострённо чувствительна, тебе будет больно.

А когда-то ты был великолепен! Всегда аккуратно подстриженные усы, брови, борода. Висячие угольно-чёрные уши украшали лобастую голову с удивительно умными, любящими глазами. Белые ровные зубы — когда ты глядел на меня, всегда улыбался... Только не умел говорить!.. Тёмная грива на широкой груди с белоснежным галстуком, светло-палевые коренастые лапы, стройный корпус в густой шерсти с сероватым подшёрстком, роскошное опахало хвоста. Волосок к волоску, всё шелковистое! Сколько расчёсок переломала ради твоей красоты!

Руками тихонько оглаживаю когда-то мягчайшую шерсть. Она давно не такая. Но мне всё равно приятно тебя ласкать. Потому что через ладони приходит тепло, то самое, что ты сохранял всё это время. Я собираю его остатки. Откуда-то чувствую: когда всё отдашь — умрёшь. И ты очень, очень торопишься это сделать, потому что...

...Потому что больно. Больше никогда не позволила завести себе собаку — другую, такую же весёлую и счастливую, как ты в свою бытность. Потому что тебя предала — так всегда и считала. Жизнь, она не спрашивает, чего хочу, что могу. Она продолжается.

Но я-то, я-то себя спрашиваю... Так мы, люди, устроены...

Мгновение — и что-то переменялось: Верный встрепенулся, поднял голову, приподнялся на передних лапах, вздрогнул... Я подхватила, сгребла, прижала к себе, а он, лизнув щёку, пружиной напрягся, словно ему стало вдруг тесно... Нутром поняла, что происходит, осторожно уложила наземь, он был уже далеко... Видел что-то другое, своё... А я... Я забыла дышать... Пёс глубоко вдохнул (мы... вместе втянули воздух) и вытянулся, широко открыв глаза, выкатив...

Солнце ушло.

Он ушёл следом...

Голова наполнилась звоном.

Я закрыла ему глаза и, потрясённая, опустила на колоду. Как же так?.. Встретились... чтобы тут же расстаться...

Потянул ветерок, прилепилась к лицу паутинка. Приклеилась, никак не смахнуть. В глаза пробралась едкая пыль, пытаюсь их протереть. Почему, почему у меня всегда всё не как у людей?! И умею ли я...

— Не умеешь. Не умеешь любить по-человечески, как другие.

Голосу даже не удивилась — пусть говорит, пусть хоть кто-то со мной разговаривает, самое время. Тембр мягкий, негромкий. Кажется, тот, кто говорит, знает, что со мной происходит.

Механически повторила про себя услышанные слова — такому голосу хочется верить, даже если верить совсем не хочется. Он убедительный: спокойный, глубокий, внятный. Нет, это не я с собой говорю — я так не умею.

Вглядываюсь в сумрак, сначала на небо, где угадываются первые звёзды и уже натянуло туч. Видимо, там, высоко, сильный ветер. А больше там ничего нет. Не летают по небу ангелы.

И вдруг замечаю на лавочке возле окна незнакомого старца с длинной бородой и спадающими по плечам светлыми прядями. Коренастый, в древних белёсых одеждах, скорее всего домотканых. Лицо без морщин, а глаза — не разгляжу его глаз — свет, сплошной, до угольной черноты, свет... Мягкий, не обжигает... Гладкие руки. Рубаха чуть не до колен, слегка подпоясана. Ремешки накрест подхватывают обмотки, на ногах лапти.

Лапти?! Где он их взял?

— Сам плету. Да и несложно. Лыка всем хватит.

Дедушка опирается руками на крепкую клюку. Видно, что привык отдыхать, на неё опираясь. Только никак не пойму: он настоящий или мерещится? Очень уж он необычный, словно прописанный акварелью по фасаду избы. Нет, не так. Поверх брёвен промыт силуэт, и в мокрый картон вписан красивый, как из сказки, голубоватый старик. Рисунок ещё не просох. Впрочем, какая разница, живой он или надуманный? Откуда-то он меня знает.

— Да, дедушка. Наверное, не умею любить... И нет мне прощения...

— Кто любит — простит.

— Что же мне делать?

— Люби как умеешь.

— Почему же всегда ухожу? Они без меня умирают...

— Одни любят, чтобы остаться. Другие — чтобы идти. Такая судьба.

Он говорит простые слова. Знаю, их никогда не забуду, но сейчас смысл далеко.

Хочу спросить что-то ещё — в голове только звон, да и дед становится прозрачней: тёмные брёвна видны сквозь него. Вот рисунок просох, а Он, вдруг понимаю, что это был Он, исчезает...

Нет, Он не может исчезнуть! Это невысказано! Он просто опять стал невидим, растворился во всём, и Ему некогда больше со мной

говорить... Но знаю: это Он ведёт, Он рядом, что бы со мной ни случилось. Всегда.

Наотмашь хлестнуло неожиданно свежим ветром. Порыв, снова порыв. Понесло пыль, строительный мусор, какие-то щепки, песок, листья, веточки, семена. По налетевшей влажности чувствую: гроза приближается, сильная. Успели рассыпаться звёзды и теперь подманивают к себе тучи, укрыться хотят. Со стороны заката блещут зарницы — светловатые на серо-зелёном вечернем картоне.

Неужели это и есть... Это она? Наша последняя встреча? Как же так?.. Почему?.. Сами собой закрылись глаза... Какой-то ослепительный мрак... В который раз... И тут в сердце кольнуло — огонь! Стало легко, голова невесомая: вдруг поняла то единственное, что надо успеть.

С места рванула к дому — дверь не поддаётся. Нет, плечом не сбить никогда — слишком маленькое плечо, слабое даже во сне, чтобы снести дубовую дверь, с которой от времени ничего не случилось. Тогда, натянув на ладони рукава просторного анорака, сорвала ставень (отошёл, как старые обои), со всей силы пяткой долбанула стекло. Ногой же очистила раму от острых обломков, забралась внутрь.

Теперь самое главное. То, что мне нужно, хранится в подполье. Открыть тайничок... Впрочем, там и не замыкалось. Металлическое кольцо на крышке подполья отсутствует: проржавели гвозди несущей пластины. Лом... Где его взять? Ноги понесли к облупленной печке, а когда-то на ней было подобие изразцов... Простеньких плиточек, купленных на рынке по случаю ярмарки — бабушка их сама аккуратно лепила на мучной сапожный клейстер. В разбитое окно слабо проникает свет — здесь, на родине, никогда не бывает ночей абсолютно тёмных, даже летом. Но я неплохо ориентируюсь в темноте. Картина — как негатив на просвет: если знаешь, что изображено, то всё различаешь. А я знаю. Как не было этих десятков лет. Рука сама пошарила среди обломков штакетника, служившего кому-то дровами, и нащупала кочергу. А вот и нужная мне короткая щепка.

Дальше было несложно. Со сноровкой, неизвестно откуда возникшей, воткнула кочергу в зазор и начала на неё прыгать. Повезло: полы оказались сосновые — листвяга за эти годы превратилась бы в камень. Голова кочерги вошла в щель наполовину, почти как в масло. А дальше пришлось крепко собраться... Рывок — и крышка откинута.

Из подполья пахнуло... Кто бы подумал — детством! Я очень любила подползать к самому краю, лечь и глядеть в провал как в подземелье, дышать его тайнами. В нём исчезала бабушка со свечой в битой эмалированной кружке: доставала картошку, солёные огурцы или капусту — в подполье она меня никогда не брала. Тайны там до сих пор и хранятся... Сейчас оттуда тянет свежим воздухом прохладной

земли. Видимо, остатки провианта давно съедены крысами подчистую, так что гнить нечему.

Свечка мне не нужна. Да и запах говорит лишь о том, что внутри ничего опасного. Сунула щепку в карман. Спуск вниз, как по верёвочной лестнице, быстро, привычно — лазанье по лианам спортзала всегда доставляло радость. А тут почувствовала себя матросом на мачте перед бурей: ноги сами искали ступени. Семь шагов вниз — и я у цели: вот и полочка посреди лестницы — небольшая ниша. Если не знать — не увидишь: прикрыта досочкой-дверкой, почти неотличимой от грубой обшивки стен. Гвоздик-щеколда в пальцах рассыпался. Щепкой цапнула дверцу... Канистра там, куда её много лет назад ставила бабушка. Полная, по самую крышку. Та самая трёхлитровая канистра про чёрный день. Память бабушки о далёкой войне, когда папа ходил пешком под стол, когда керосин был почти валютой и на рынке запросто менялся хоть на муку, хоть на мыло. Рядом лежит упаковка охотничьих спичек, плотно завёрнутая в целлофан. Спички с рынка, сработанные вручную.

Несколько точных движений — и я наверху с канистрой и спичками.

Отыскала в сенях на неприметном крючке за дверью бабушкины верхонки — парусине и за века ничего бы не сделалось. Но входная дверь плотно забита; впрочем, довольно окна. На едином дыхании оказалась снаружи, набила штакетник ногами — он легко поддавался. Охалками перебросила в дом. Скинула ворохом над подпольем, вокруг чудом уцелевшей широкой лавки-лежанки, которую подтащила от стены. Подполье как раз посреди горницы и когда-то было накрыто красочным полосатым половиком, вязанным бабушкой самодельным деревянным крючком. Сейчас всё накрою так, что ярче и не бывает. Осторожно внесла через окно Верного, удобно на лавке его уложила... Села в голове...

Даже не знаю, как бы умирала без встречи с тобой, без твоего прощения. Потому что ты единственный любил без условий, любил всякий миг, раз и навсегда... Даже когда уходила... Так дано любить только собакам. Ты же помнишь, как плакала я тогда, но... я... я не могла остаться! И взять тебя с собой не могла... Всё, на что надеялась, это на твою любовь и прощение — как чувствовала, что больше уже не увидимся, хотя так не хотелось этому верить. Но ты всегда в моём сердце, всегда рядом, пока я жива. Да, на своём коврикe, когда нет меня дома, и неизменно неподалёку, когда мы вдвоём. Стоит оторваться от книжки, как лохматая голова поднимается, тянется мне навстречу, и в тёмных глазах возникает вопрос: «Ты как? Всё у нас хорошо? Я с тобой!»

Но, видимо, даровано мне проститься и с домом бабушки, и с тобой, хотя ты никогда здесь, в её доме, не был: он разрушен задолго, как ты родился. Но в нём, именно в нём нам суждено разорвать круг вечной

разлуки. В нём и отправлю тебя туда, где мы обязательно встретимся. Я верила, проклиная себя, читая письмо отца: ты простишь. И ты дождался, пусть только во сне — облизал мои руки, лицо, заглянул в глаза своими уже невидящими глазами... Впрочем, они всегда смотрели на мою душу... Своей рукой их закрыла.

Есть ещё время поплакать, немного этого времени есть. Наконец опять могу плакать. Последний раз глажу тебя, товарища, защитника, спутника детских игр, приключений и путешествий.

Если бы не ты, не видать мне судьбы.

Проходила по рынку: надо было купить не помню что — быть может, носки на лето, — а купила щенка! За три рубля! Две старухи, что всегда с коробками котят и щенков, собирались домой. Я привычно подошла почихнуть над живностью — отец её тоже мне запрещал, не любил ни собак, ни котов, а в коробке среди почти десятка котят разных мастей тихо скулил щенок — маленький, с мою ладошку, лобастый. — Этого сейчас утоплю. Сосунок. Подкинули писклю, а он не лакает из блюдца. К утру околует.

Я чуть с ума не сошла... Как же так?! Может, его кто-нибудь купит?! — Бабушка, не топите щенка! Вдруг его купят?!

— Никому он не нужен! Дворовый! Сейчас не надо таких. Раньше-то из-под сук всех щенков размечали, а теперь и дворов не осталось. Хорошие были псы. Верные.

— Ну, может, кто-нибудь купит?

— Никто не купит. Разве вот ты.

— Я бы купила! У меня три рубля есть!

— Так и хватит мне трёх рублей! Соску ему на бутылку — и выпоишь. Он сам через неделю сможет лакать.

— Я могу вам отдать три рубля! Только щенка не топите! Мне собаку не разрешают... Я бы взяла, я хочу собаку, сильно хочу...

— Тебе не разрешают, другим такую собаку тоже не разрешают. Никому он не нужен. Вон, котята всю кашу поели, а он охламон. Не жилец, — старуха поставила коробку с живностью на землю, вставая и оправляя подол.

Сейчас сложит свой стул с брезентовой сидухой и пойдёт щеночка топить...

— Не топите, бабуля...

— Ступай, коли не покупаешь — ступай! Не разрешают и правильно делают! Нечего поважаться! А то заведут, а потом на родителей бросют.

Но я уже гладила щенка, меня колотило от жалости, а он, мягкий, словно тряпичный, ткнул носом в ладошку, ухватил ротишкой мизинец и начал сосать. Всё во мне всколыхнулось — волна нежности, тепла, которого отчаянно не хватало... Будь что будет! Вместе пойдём топиться — так тогда и решила. Всюду отныне будем вдвоём!

— Я не брошу! Никогда не брошу! Вот три рубля. Не выгонят, может, из дома...

Из дома меня не выгнали. Только отец три месяца не разговаривал. Но щенка я выпоила. С пальца, с мизинца — аптека уже закрылась, соску купить было негде. А до утра, боялась, он не дотянет — так сказала старуха. Выпросила у соседей немного молока, и потихоньку, по каплям, щенка напоила. Назвала Верным.

Хорошо мы с ним жили, все шесть лет, просто здорово! Пока я не уехала учиться, а потом — по распределению, заниматься наукой. Пока обосновалась на месте, сняла вместо общежития на постоянку квартиру, заплатила за год вперёд, чтобы хозяева разрешили держать собак, время всё шло... С трудом договорилась в лаборатории о неделе досрочного отпуска, чтобы съездить домой за другом. И вдруг громом письмо от отца: Верного нет... Похоронить его он не смог, именно в тот год уже в начале октября стояли трескучие морозы. И это тоже терзало...

А ведь именно благодаря Верному я и уехала учиться, поверив в себя! Бабушка умерла перед самой моей школой, отец жил с разными женщинами, всё никак ни с кем не мог сойтись окончательно, но мне выделил отдельную комнату, так что я не в обиде. Другое дело, что заниматься мною, конечно, было совсем некому, и я, никогда не ходившая в детский сад, с трудом приживалась в школе. Даже боялась, что так и не смогу приспособиться к жизни, потому что безумно не хватало уверенности, внимания и тепла. Мама умерла, когда мне не исполнилось и года. Нет, чудом я не чувствовала себя лишней, но и радости по случаю своего присутствия тоже не ощущала.

Но появился Верный, стали мы с ним не разлей вода, улыбались друг другу с утра до ночи, вместе много гуляли, а уж как он меня любил! А это значит, что я чего-то да стою! Сразу всё пошло в руки, наладилась учёба (как-то пришла уверенность, что понимаю предметы, если понимаю свою собаку), да до такой степени, что хорошо окончила школу и дерзко поступила в желанный вуз. Конечно, я не могла отказаться от возможности двигаться дальше. Я и сейчас не отказываюсь, только теперь моё «дальше» пролегло не наружу, а внутрь. Неисповедимы пути Твои...

Немного утешало, что отец тоже полюбил Верного. Да и как было его не любить: послушный, ласковый, очень спокойный, завидев, всегда улыбается — скалит зубы, виляет хвостом и в то же время не досаждают. Отец гулял с ним подолгу, варил ему суп. Личная жизнь у отца так и не заладилась. Глядя на его неприкаянность, я дала себе зарок: отыскать любовь, даже если придётся идти за тридевять земель. Даже если через тысячу лет — это не важно, главное — найти, узнать и не расставаться, вместе идти вперёд. Потому что всегда чувствовала: есть, есть на свете, пусть не на этом, пусть на другом, не важно, но есть тот, кто меня любит и ждёт. Просто когда-то мы потерялись. И ведь нашла, встретила, не пропустила!

Я в последний раз прижала ладонями мягкие уши, пригладила, поцеловала выпуклый седой лоб, высохший нос... Хвост обернула набок, чтоб не свисал... Анорак вымок от слёз.

Знаю, мы непременно встретимся там, за пределом; если наши души встретились в этой жизни — в будущей, значит, не потеряемся.

Никогда не могла себе простить этого испытания. Даже на каникулы не приезжала — боялась, что новой разлуки твоё сердце не выдержит: отец писал, что поначалу ты долго не ел, чуть не умер. Вот тут, наконец, в отце и проснулась к тебе любовь. Ведь ты единственный, кто смог проложить мост между нашими душами — появилась тема для разговора. Только я просила тебе не давать мои письма — чтобы ты не унюхал и не расстраивался — и дико торопила время, училась с утра до ночи, а все свободные часы, чтобы забыться, посвящала спорту. В залах университета, в бассейне, на стадионе занималась до изнеможения — только так и могла уговорить своё сердце отвлечься.

Получила интересную работу, о которой мечтала, которой с восторгом себя посвятила, но отец не захотел переехать — под конец жизни его одолела тоска о маме, после твоей смерти вдруг начал ходить к ней на могилу. Потом написал мне, что она была единственной женщиной, которая понимала его и любила. А в других такой любви он не встретил. Четверть века прошло до прозрения.

Отец тоже не стал заводить себе новую собаку, а жаль. Потому что потерял всякий интерес к жизни... Сколько помню, всегда он был меланхоликом — женщины не выдерживали его угрюмости и уходили. Уведомление о его смерти пришло из больницы. Взяла отпуск за два года, прилетела, похоронила рядом с мамой. Оформила их могилу и бабушки, продала квартиру. Как, как я хотела прийти к тебе... Но не было того холмика. И я пошла на часовню, откуда мы вместе любовались закатами.

Довольно воспоминаний...

Надо успеть, обязательно надо закончить, пока не разразилась гроза. Изнанка мягкого анорака — полотенце совсем неплохое... Надо вставать, а не плакать. Для сквозняка выбила другое окно, хорошо, на нём не было ставен. Ветер ворвался в избу, закрутил. Один порыв сильнее другого. Всё, больше тянуть нельзя! Аккуратно открыла канистру, быстро плеснула в штакетины, щедро — под лавку, махнула на стены, на пол, провела дорожку от окон.

Выбралась и оставшуюся треть канистры, обежав дом, вылила на углы, на бревенчатый сруб. Ну и всё. Скинула анорак, отшвырнула подальше. Спички! Как стрелы, вспыхивали они, шоркнутые о верхонку, и влетали в избу. Через полторы минуты она пылала огромным костром. Через десять минут с грохотом рухнули стены.

Теперь ты умер... Спокойно, как полагается. Теперь я спокойна... Свободна.

...Потому что там, там... уверена! Там ты выскочишь с радостным, заливыстым лаем, с визгом от невыносимого счастья! И хвост, как руль, будет заносить тебя в стороны, а когти на задних лапах издерут всю под тобою траву! Потом вскинешь мягкие широкие лапы на мои плечи, и я почувствую на лице тёплый мокрый язык и, зажмурившись, зароюсь руками в пушистую холку, в роскошную гриву...

А потом мы привычно уткнёмся лбами, закроем глаза и будем безмерно счастливы! Немного успокоившись, (ты уже положишь голову мне на плечо), я, продолжая тебя обнимать, наконец открою глаза.

И увижу, что ко мне приближаются родные: бабушка, мама, которую видела только на фотографиях, отец... А за ними другие люди, я их знаю, или знаю совсем чуть-чуть, или вовсе не знаю, но всё равно очень, очень люблю.

Но в моём сне уже падают крупным горохом первые капли. Через пять минут от дома осталась лишь печка с почерневшими квадратами изразцов. Ливень хлестал, будто открылись последние шлюзы. Однако мучной клей, что часами намывают в нашей реке, намертво клеит. Я тоже не сахарная, я уйду в ливень. И надо успеть, вскочить, ухватиться за его гриву.

Дождь словно взбесился: я промокла насквозь, будто купалась, да что там — ныряла! Одежду сбросила — больше она не нужна, только мешает. Да мне и не холодно, даже жарко. Поход продолжается: надо успеть вернуться, уведя того, за кем приходила. Из-за плотного дождя ничего не видеть. Иду, как собака, чутьём, возвращаюсь обратно памятью тела, по своим же следам. Главное, двигаться, не стоять, войти в ритм грозы, это сейчас основное. Бояться — верная смерть: страх лишь привлекает всякую нечисть, без которой в таких историях не обходится. Дождь — это хорошо, он смывает следы, без него уйти было бы сложно.

И тут надо мной наконец расколосось небо! Земля содрогнулась, потоки дождя пошли ходуном, будто по тучам скакали. Знаю, кто вместе с грозой ворвался сюда и ждёт меня у часовни. Над головой вспыхнула огненная карта с венами дорог.

Теперь молнии бьют непрерывно, лупят хлыстами раскаты — я в самом сердце грозы, и нельзя отставать. Между вспышками беру направление, вода, как кровь, вливает силы, усталость не про меня. Вот и мостик, и прямая подгорная улочка. Всё, осталось домчаться до лестницы, взлететь по склизким ступеням. Я почти у креста и скоро вырвусь отсюда. Координация безупречна, да и тело, слившись с дождём, стало совсем другим. Здорово, что ни одна гадина не вылезла из закоулков. Интересно, чего они ждут? Но не успела подумать, как за спиной раздался истеричный визг и возня. Так и есть! Это Верный — вновь теперь молодой, огромный, матёрый — драл налетевшую нечисть. Собирались ордой со всей слободы, из-под каждого

забора, подвальчика, чтобы броситься наверняка. Верный справится, не зря его отыскала. Значит, опять будем вместе: наконец отыскала концы когда-то оборванной нити, связала и закрепила огнём узелок, оплавив края.

Уже виден блик луковки, размером с ладошку, над ним негасимо светится крест. Абрис молний польхает без устали, одна из которых ломаной ниточкой тянет дорогу к кресту. А вокруг часовни, знаю, уже нетерпеливо носится чернильный, как небо, мустанг. Последний десяток метров, я бросаюсь к жеребцу, всего-то надо схватиться за гриву, подпрыгнуть, взлететь на холку и, обхватив его ногами, вместе подняться в небо. Это смогу даже в кромешной тьме. У моего коня длинная грива — есть за что ухватиться.

Секунда — и мы уносимся прочь. Внизу слегка двоится в паутине молний, светится, словно выточенная из исландского шпата, крошечная часовня с золотой луковкой — парящая желтоватая свечка в кромешной тьме уходящего сна. Рядом, легко отталкиваясь лапами от потоков воздуха, мчится Верный, скалит в улыбке белоснежные зубы.

Евгений Попов

## Город К.

Портреты

## АСТАФЬЕВ

В физической смерти каждого знакомого человека есть что-то ужасно неприятное. Проснёшься среди ночи, вспомнишь, подумаешь, как он там, а потом доходит сквозь рассеивающийся туман дрёмы, что его уже здесь нет.

Да ведь совершенно не случайно так называемые простые люди, не отягощённые сомнительной нынешней культурой, сильно гневаятся на покойника: ругают его за то, что он их оставил на этой земле мучиться дальше, сам отбив в неизвестные пределы. Запомнил с детства, как кричала-плакала на каких-то сибирских деревенских похоронах растрёпанная тётка с опухшим от слёз лицом: «Удрал<sup>1</sup> ты, Серёженька, удрал! На кого, за что, почему нас бросил?»

Справедливости в этих безумных обвинениях ровно столько же, сколько и во всей земной жизни, в которой каждый из нас обретается до своей поры, до своего индивидуального времени Икс.

Разве справедливо, что в томе №1 «Аарне — Гаврилов» «Краткой литературной энциклопедии» за 1962 год ещё нет имени писателя Виктора Петровича Астафьева, который к тому времени уже выпустил несколько книг, а в 2002 году уже нет человека Виктора Петровича Астафьева, оставившего всем нам, из которых и состоит народ, тысячи страниц *послания*?

Отчаяние и сослагательное наклонение «как бы» в данном случае, как и во всех других, бессмысленны. Да, он написал бы ещё, он сказал бы ещё, но разве мог перед смертью надыхаться тот, который всю жизнь пытался вдуть кислород в вялые лёгкие Родины? И разве это не Божье чудо, что малограмотный сибирский парень, безотцовщина, «провинциальный совок» стал на переломе тысячелетия одним из духовных пастырей российской нации, ошалевшей от того, что с ней проделали в двадцатом веке, смурной от униженного сознания того, что она сама охотно позволила сделать с собой это — неведомым им?

---

1. Удрал — сибирское слово. Имеет двоякий смысл: 1) убежал (*простореч.*); 2) совершил нечто экстраординарное, необыкновенное (идиома «удрал штуку»).

Астафьев — плоть от плоти, кровь от крови народа со всеми его метафизическими взлётами и падениями, мерзостями и духовными порывами, святостью и блудом.

Помню, как поразило меня давнее его интервью, где он с сердечной болью говорил о том, что не понимает древнерусскую живопись, не способен принять икону, ибо воспитан так, что на его глазах иконы ломали, жгли, топили в воде под добродушное улюлюканье того же народа. Редко кто бы осмелился на такую откровенность в те времена, когда его более удачливые коллеги, профессиональные радетели Духовности, шарились по северным деревням в поисках «досок» для украшения своих городских жилищ и, возвратившись с партийного собрания, тихо запевали под иконами «Боже, царя храни».

Астафьев — счастливый человек, сейчас это уже можно сказать, не впадая в ересь суеверия, не сплёвывая трижды через левое плечо. Бог дал ему Слово, и он оправдал доверие Божие. Израненный, больной, страдающий, он сказал лучшую правду о той войне, которая вьелась в вещество нации, как зловредная угольная пыль. Его книги — это для всех, это чтение, находящееся в равном удалении и от масскультуры, и от элитарных книг с исчезнувшей писательской энергетикой.

Его книги — о любви. О любви ко всему. О любви к женщине, родине, местности. Ненависть и ярость, часто выплёскивающиеся на его страницы, — изнанка этой любви, любви к Божьему миру, которую должен испытывать любой нормальный человек, благодарный Творцу. Вне зависимости от того, кем он числится в этой жизни — работягой, вельможей, интеллектуалом или моральным уродом. Вне зависимости от того, к какой точке мира он приписан. Вне зависимости от того, ходит он в церковь или не знает, какой рукой креститься. Вне зависимости от того, читал ли он книги вообще и книги Астафьева в частности.

Слишком поздно или слишком рано? Извечные российские сумерки свободы не дают ответа на этот вопрос. Астафьев родился, жил и умер свободным человеком. Его независимость доходила порой до той опасной черты, за которой царят вечный мрак и хаос. Но вот ещё чудо — его как будто кто-то вёл, как будто и над ним был *старший*, предостерегающий. Уход его плоти — горе, но той духовной энергии, которую он выработал для всех нас, ещё хватит на какое-то время. А может быть, надолго. А может быть, навсегда.

## ПОЗДЕЕВ

Теперь художника Андрея Поздеева, слава Богу, знают не только в сибирском городе К., стоящем на великой реке Е., впадающей в Ледовитый океан, не только в Москве, не только в России. О нём сняты фильмы, о нём пишут статьи и книги, памятник около бывшего пединститута стоит. Я, его скромный почитатель и сопереживатель, не претендую на учёность, анализ и мнение, а лучше расскажу-ка

вам о том, как мы вместе с ним покупали ему штаны в магазине ОРСа — отдела рабочего снабжения речного флота, что был расположен на улице Парижской Коммуны в непосредственной близости от реки Енисей и моего к.-ского дома. Был он тогда беден и «широко известен лишь в узких кругах». Патентованные члены Союза художников относились к нему снисходительно. Молодёжь — обожала. Достаточно сказать, что именно в его мастерской выросли нынешние столпы сценографии Владимир Боер и Виктор Немков.

— Надо бы мне купить новые штаны,— задумчиво сказал Андрей Геннадьевич, свершив мокрую приборку своего помещения, того самого, что отведено было ему в старом здании Художественного фонда на проспекте Мира.

— И то дело,— отозвался я, глядя на его старые штаны.

Мне было тогда двадцать семь лет, и я, имея диплом геолога, подвизался в упомянутом Художественном фонде в должности «искусствовед по работе с народными мастерами и по привлечению заказов».

(Работа эта заключалась в том, что я писал в Москву отчёты о том, как я работаю с народными мастерами, которых большевики к тому времени уже повывели на корню как частников и спекулянтов, отчего уцелевшие мастера таились, как мыши под веником, и избегали любых контактов с властью, хотя бы и в моём лице. А «привлечение заказов» — это я должен был снабжать «творческой работой» местных художников, скульпторов, навязывая услуги Худфонда советским предприятиям, заключая с ними «предварительные договора». Надо сказать, что получалось это у меня очень хорошо, и поэтому, когда я переехал в Дмитров Московской области и поступил на такую же работу в Худфонд РСФСР, по художественным кругам города К. прошёл слух, что меня за ударные деяния вознесли с повышением в столицу и я теперь — большой человек, что вскоре и подтвердилось, когда меня со скандалом выгнали из Союза писателей, а из Худфонда не выгнали, потому что там и так работали исключительно люмпен-интеллигенты широкого спектра — от «инакомыслящих» до спившихся кагэбэшников и официального должностителя, бурята Пампилова: девяносто один год, из них семьдесят два — в партии.)

Но речь не обо мне, КГБ или должностителях, а о Поздееве. Мне удалось заключить с каким-то ПТУ, профтехучилищем, договор на два «натюрморта из серии „Цветы и фрукты“, холст/масло, р-р по б. стороне 80 см., цена 300 руб. 1 шт.» (из которых на долю художника пришлось бы рублей двести за упомянутую штуку, а может, и того меньше).

Я, к сожалению (а может — к счастью), никогда не имел отношения к «распределению заказов», отчего не мог (вариант — не хотел) хапать левые деньги с советских творцов изящного, чтобы составить «первоначальный капитал» и в перспективе стать «новым русским». У меня были свои дела. Я был одинок, только что побывал на совещании молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, мне платили сто двадцать

рублей, премию, командировочные, и я был очень доволен тем, что мне не надо ходить с утра «на службу», а можно вольно шататься по городу и вообще существовать, набираясь тех жизненных впечатлений, за которые потом выгоняют из Союза писателей. Натюрморты, к моей великой радости, «распределили» Поздееву. Он взялся за дело серьёзно: получил аванс, купил множество тюбиков недешёвой краски, приобрёл на рынке дорогостоящие «цветы и фрукты», увлёкся, пел песню: «Это было давно, лет семнадцать назад», — расхаживал по мастерской в длинной рубахе навывпуск, творил.

...ПТУ отказалось от оплаты и сообщило, что расторгает «предварительный договор», а также требует назад аванс. Объясняться с заказчиками после того, как их уже угостили отдельными шедеврами социалистического реализма — например, спяну и косо срисованным с открытки посредством фильмоскопа и без того косым Лениным, — не входило в мои прямые обязанности, но тут я глубоко вздохнул и быстро пошёл.

Пошёл в то самое двухэтажное деревянное здание в начале проспекта Мира, где теперь какой-то билдинг, сверкающий сталью, бетоном и стеклом. Злобно встретил меня директор ПТУ и сразу же стал орать, что у него «пятилетний сын лучше рисует», а натюрморт — это когда «на яблоке капельки росы видно». На мой просветительский рассказ о путях и достижениях современной живописи он реагировал презрительно и сказал, что если «говны накаляли, так не хрен лапшу на уши вешать, Пикассы тут ни при чём», после чего мне удалось уговорить его пойти в мастерскую Поздеева «хотя бы из любопытства».

Этот молодежавый коммунист был простой сибирский мужик, но только директор профтехучилища. И Поздеев был простой сибирский мужик, но только художник. Один мужик вдруг увлёкся неизвестно почему, стал показывать другому мужику всякие картины, десятки картин, и объяснять, что вообще всякие картины значат. Второй мужик вдруг затосковал, явно озадаченный наглядными сведениями о том, что земное бытие вовсе не ограничивается советской властью, а потом тоже увлёкся.

— Ладно, — хмуро сказал он мне, когда мы вышли на улицу. — Заплатим, не обеднеем. Человек хороший, жалко человека.

«Себя жалея», — чуть было не брякнул я.

— Хотя... Хотя это, конечно же, называется *формализм*, — вдруг вспомнил он, чему учили.

— То говны, то формализм — выбрал бы уж что-нибудь одно, — наконец-то обозлился и я.

— Не... — он вдруг даже (верьте мне, люди!) неожиданно робко и смущённо улыбнулся. — Это не говны, это — другое. Тут всё действительно, мужик действительно старался, и я заплачу, но это формализм, и я это у себя такое никогда не повешу, чтобы люди надо мной смеялись и если какая инспекция...

— Так подари их тогда мне, — якобы шутливо сказал я.

— А вот этого ты не видел? — он, конечно же, сделал неприличный жест, и на этом я обрываю наш содержательный диалог, а то, как видите, меня что-то на сочинительство потянуло.

... Андрей Геннадьевич Поздеев перебрал тогда добрый десяток новых штанов из плотного флотского сукна. Он придирчиво ощупывал швы, изучал подкладку, прикидывал на руках длину штанин и наконец, кажется, выбрал искомое. Он вышел из примерочной. Он, к моей великой радости и аналогичному ужасу продавщиц, вдруг присел на корточки и принялся скакать, как заяц.

— Э-эх, хорошие штаны, крепкие штаны, обязательно куплю себе такие штаны, чтоб до смерти не сносить! — на весь магазин кричал он, выкидывая невиданные коленца и сверкая металлическими зубами.

Где теперь эти новые штаны, где теперь эти «Цветы и фрукты», где теперь всё, что было?

## СОЛНЦЕВ

Я познакомился с Романом Солнцевым — страшно сказать! — шестьдесят лет назад, в 1962-м, когда он, вместе с Галей, его верной и единственной женой, прибыл в Сибирь по распределению, закончив физико-математический факультет Казанского университета.

Прибыл уже тогда в ореоле нешуточной славы. О, эти времена, когда писатель ещё был знаковой, значимой персоной вне зависимости от его взаимоотношений с властями!

Времена, когда Хрущёв орал в Кремлёвском дворце на провинившихся перед партией творцов слова, Солженицына выдвинули на Ленинскую премию, молодёжь, не спрашивая разрешения, читала стихи «у Маяка», а дискуссия на тему «Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне» становилась всенародной. Достаточно было Андрею Вознесенскому процитировать в статье «Мы — май», опубликованной в тогдашней «Литературке», одно стихотворение никому не известного «студента-физика из Казани» Р. Солнцева, и имя Романа узнала вся пишущая «оттепельная» братия, включая меня и Эдуарда Русакова, которому тогда было двадцать лет, мне — шестнадцать, но мы уже отметились в родном городе созданием самиздатского литературного журнала, тут же и разгромленного.

Роману исполнилось тогда двадцать три, у него уже была книжка, вскоре его в один день с Валентином Распутиным и Александром Вампиловым приняли в Союз писателей. Мы подружились, мы обменивались свежесочинёнными рукописями и заветными книгами. Когда меня спрашивают, была ли у меня в юности в моём городе К., стоящем на берегу великой сибирской реки Е., впадающей в Ледовитый океан, литературная среда, я имею возможности для уверенного ответа: да, была, эту литературную среду составляли для меня тогда Роман Солнцев и Эдуард Русаков.

А дальше — что говорить? Прошла совместная жизнь, в которой география не имела превалирующего значения. Я покинул сибирский город К., жил в Москве и Подмоскowie, он, коренной волжанин, выросший в татарской глубинке, стал сибиряком, но мы всегда были вместе. Часто приезжал он ко мне в мои студенческие годы, подкармливал нас, водил по скромным рестораникам, познакомил меня с Андреем Вознесенским и Марком Соболев, обладателем потрясающей библиотеки, где я впервые прочитал книги редких или запрещённых тогда авторов двадцатых-тридцатых годов: Замятин, Пильняк, Ремизов, Зощенко, Пантелеймон Романов. Пытался, практически безуспешно, устраивать мои литературные дела. Он друзей не бросал и не сдавал. Когда мне в 1986 году исполнилось сорок лет и я, исключённый из Союза писателей, обретался в литературных нетях, он был единственным гостем на моём скромном дне рождения и убедительно внушал моей любимой теще Галине Александровне, что её зять не отщепенец, не фуфло, а обыкновенный русский писатель. То же самое он говорил всегда и везде, несмотря на то что суки-доброжелатели неоднократно предупреждали его, что с такими персонами, как я, ему, официалу, лучше не якшаться.

Человеческая жизнь всегда коротка, но Роман успел сделать за свою жизнь столько, что только сейчас становится понятным, как всего этого было много. Стихи, проза, драматургия — это всё весомо, это всё само-собой, но ведь на его счету и созданный им один из некогда лучших современных толстых журналов «День и ночь», и единственный в России Литературный лицей, которым он справедливо гордился. И кинофильмы, и театральные постановки, и Сибирское отделение ПЕН-центра, и поэтическая серия «Поэты свинцового века», издаваемая им в городе К. «на медные деньги»: вечная «зэчка» Анна Баркова, забытый Иван Ерошин, трагически погибший поэт-самородок Аркадий Кутилов.

И попытка «хождения во власть» вовсе не для собственного комфорта, а для других. Для обретения народом потерянной Родины, как бы пафосно ни звучала эта последняя моя фраза. Именно при его жизни и при жизни Виктора Петровича Астафьева о городе К. заговорили как о литературной столице Сибири. Именно тогда возникла «к.-ская стенка» известных современных сибирских писателей — Александр Астраханцев, Сергей Задереев, Олег Корабельников, Сергей Кузнецихин, Эдуард Русаков, Михаил Успенский, Сергей Федотов.

Ему помогали Вознесенский, Симонов, Твардовский, он тоже помог, кому мог, хотел, и многие, самые разные, совсем «новые литераторы», чьи имена сейчас постепенно входят в литературный обиход, обязаны считать его своим крёстным, если у них есть память и совесть. Я видел, как он общался с ними на Форуме в Липках, где мы с ним неоднократно вели семинары. Я так не умел, не умею и никогда, наверное, не научусь — говорить доброжелательно, но анализировать беспощадно, с одной стороны — не впасть в панибратство, с другой — избежать

менторского тона, продиктованного возрастом, положением. Не заигрывать и не браниться. Говорить о чужом как о своём, выстраданном. Безо всякой фальши и «скошенными от вранья глазами».

Он не был «натруженным и праздным». Он был нервным, ранимым, иногда впечатлительным до мнительности. Мне кажется, он не всегда верил, что его действительно любят. А его любили многие, и я говорю не только о его ближайших друзьях и соратниках. На смерть его откликнулись прочувственными словами такие разные люди как Василий Аксёнов и Владимир Бондаренко, Белла Ахмадулина и Римма Казакова, Светлана Васильева и Светлана Василенко, Владимир Салимон, Вадим Абдрашитов, Виктор Славкин, Сергей Юрский, Юрий Кублановский и многие-многие другие, включая так называемых «простых людей». Последовательный демократ, правозащитник, член знаменитой Межрегиональной группы депутатов канувшего СССР, он тем не менее был подлинным плюралистом. Он собирал под обложкой своего журнала самых разных авторов. Он не разбрасывал камни «кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз», ибо единственным критерием отбора для него был талант. Писатели и поэты из русской глубинки соседствовали на страницах «Дня и ночи» с русскопишущими из Америки, Германии, Израиля, Финляндии, ближнего зарубежья. «Космополиты» и «почвенники», «реалисты» и «авангардисты», «левые» и «правые» — такова была пёстрая мозаика его журнала, создающая объёмную картину современной жизни России со всеми её бедами и победами.

Памятные мысли о нём всё последнее время сопровождает для меня жуткое, почти безумное ощущение того, что он просто вышел из этой жизни на минутку покурить и скоро вернётся.

Знаю, что это не так. Чувствую, что место его пусто. Не растерять, не разбазарить то, что он накопил для литературы, продолжить то, что он начал, закрепить навсегда ту твердь, которую он намыл среди морока и хляби, — вот лучшая память ему.

За год до смерти он написал эти пророческие строки:

Романтик был, простого норова...  
Родня мне: русичи, татаре...  
Сгорел, как верный пёс, которого  
Не отцепили при пожаре.

Он был *подвижником*, и мне плевать на то, что это слово сейчас не в моде.

## Сучков

Уроженец деревни Дорохово Ачинского уезда Енисейской губернии Красноярского края, знаменитый московский человек Федот Федотович Сучков жил в полуподвальном помещении дома, расположенного в Колобовском переулке между уцелевшим винным заводом и таинственным оштукатуренным строением. Местная легенда утверждала,

что строение это — бывшая глушилка «вражеских голосов», законсервированная ввиду объявленной начальством «перестройки». Местная легенда, скорей всего, привирала, хотя... многое в жизни Федота Федотовича сначала казалось легендой, а при ближайшем рассмотрении оказывалось сугубой былью. Иной раз горькой, иной раз — радостной, но никогда не приторной — такой уж он был человек.

А был Федот Федотович — скульптор, поэт, прозаик, драматург, эссеист. Естественно, не член Союза писателей и Союза художников, потому что в Союз писателей не принимают авторов неопубликованных книг, а в Союз художников — участников несостоявшихся выставок. Естественно, учитывая, что почти вся сознательная жизнь Федота Федотовича, родившегося в январе 1915-го и умершего в ноябре 1991-го, пришлась на тот исторический отрезок времени, когда Россией правили коммунисты.

Ибо в 1939 году он, сын сибирского мужика, поступил в Литинститут имени Горького. Ходил в гости и подружился с великим Андреем Платоновым, который обитал во флигельке того же института, но всё же не работал дворником, как утверждала сентиментально-либеральная молва. Пятого сентября 1942 года Федот Федотович был арестован органами НКВД и в качестве «врага народа» укреплял завоевания социализма в Бутырской тюрьме, на «мёртвой дороге», в ссылке на Ангаре (Мотыгино) и в других не менее гостеприимных местах любезного отечества. Реабилитированный, доучивался в том же институте, отчего имел фантастический диплом, достойный Книги рекордов Гиннеса. Там было написано: поступил в 1939-м, закончил в 1958 году. Его соучениками в этот период были: Юрий Казаков, Анатолий Приставкин, Белла Ахмадулина, Анатолий Кузнецов.

Казалось, далее ему светила лишь обеспеченная, как на известной советской картине, старость, но — увы, увы... Новые приключения ждали Федота Федотовича. Будучи литсотрудником, завотделом и ответсекретарём знаменитого в шестидесятые журнала «Сельская молодёжь», он содействовал первым публикациям в СССР Платонова и Булгакова (многим памятно его замечательное предисловие «На красный свет» к тому сборнику Платонова, где впервые был напечатан крамольный «Город Градов»), открывал на страницах журнала классиков русской литературы конца двадцатого века Андрея Битова и Фазиля Искандера. Создал множество скульптур, добрый десяток пьес, изрядное количество прозы, стихов, мемуаров. «Горел» в 1968 году за сильно отличающийся от официального взгляд на «события в Чехословакии», в 1969-м — за яркую, бескомпромиссную речь, произнесённую на юбилейном вечере Платонова, в 1980-м — непонятно за что, скорей всего по причине окончательно сгустившегося тоталитарного маразма. Вечерком к нему, никогда не занимавшемуся *политикой*, в мастерскую, где он приютил нас с женой, не имевших временно другой жилплощади, пришли казённые люди и после многочасового

обыска унесли в холщовых мешках всё, что он за свою жизнь написал. Забрали и ужасные книги, сочинённые его друзьями Юрием Домбровским, Варламом Шаламовым и изданные на Западе, которые он преступно «хранил и распространял».

В конце восьмидесятых жизнь Федота Федотовича вроде бы переменялась. Стали понемногу печатать то, что некогда было унесено в холщовых мешках. На выставке в Центральном Доме художника экспонировались созданные им портреты Домбровского, Шаламова, Солженицына, Набокова, Бунина. Барельеф Платонова работы Федота Сучкова до сих пор украшает фасад Литинститута. К Сучкову зачастили корреспонденты, его сняло Центральное телевидение.

Переменялась да не совсем. Кочевала по редакциям, да так и не нашла себе места ни в одном «перестроечном» журнале его повесть «История Алпатъева», предвосхитившая в своё время «Один день Ивана Денисовича» и рассказывающая о жизни лагерного солдата, ставшего зэком, отвергнуты были за «ёрничество» написанные на «чалдонском языке» похождения сибирского тёзки Ленина сторожа Шмоткина Владимира Ильича. Лишь за несколько месяцев до смерти Сучкова в издательстве «Книжная палата» вышла его книга «Бутылка в море», давно ставшая библиографической редкостью.

Как-то всегда оказывался Федот Федотович не ко времени, не к официальному времени. По его мнению, он даже в тюрьму сел преждевременно. «Я, парень, только-только начал соображать, что советская власть — говно, смотрю — а я уж и сижусь», — посмеиваясь, сказал он мне наутро после того самого обыска, когда мы взяли бутылку, чтобы завить горе верёвочкой.

Я горд тем, что хорошо знал Федота Федотовича, что мы в те годы были вместе. Драгоценным было это общение с замечательными старшими людьми, прошедшими большевистскую мясорубку и тем не менее сохранившими живую душу. Я говорю сегодня о конкретном человеке, конкретном гражданине своей родины, которую он любил гораздо больше, чем она его. Я говорю о Федоте Федотовиче Сучкове, который незадолго до смерти написал:

И я иду с прямою выей,  
с поднятой к небу головой,  
счастливей всех, себя счастливей  
и самому себе конвой.

## ТАРАН

Сочинение под длинным названием «Алик плюс Алёна. Роман Александра Лещёва» принадлежит перу укрывшегося под псевдонимом поэта Льва Николаевича Тарана, с которым приключилась история, вполне обычная для многих знаменитых российских литераторов. Он умер в мае 1994 года, так и не дождавшись публикации двух своих

основных вещей. Впрочем, главы из его первого романа «Каждое воскресенье пополудни» печатались в самом начале девяностых в журнале «Соло», но, кажется, прошли мимо так называемой «широкой читающей публики», слегка офонаревшей от того, что внезапно свалившаяся ей на голову свобода слова никуда не девается и никем пока не узурпируется. Фрагменты «Алика плюс Алёны» были опубликованы Владимиром Салимоном и Сергеем Семёновым в их легендарном литературном издании «Золотой век», давным-давно прекратившем своё существование и плавно перешедшем в разряд антиквариата. Спасибо покойному красноярскому энтузиасту, писателю Мише Стрельцову, который в 2017 году успел выпустить красивый, прекрасно сделанный том почти полного (на то время!) Льва Тарана с названием «Послушайте, Лещёв!».

Место жизни, смерти и погребения Льва Тарана — подмосковный Дмитров. Место рождения — Красноярск. Год — 1939-й. Отец погиб на фронте. Мать-пенсионерка пережила сына. Вдова Майя служила в Дмитровской санэпидстанции, среди хороших людей, которые и помогли ей схоронить мужа. Она пережила его всего лишь на год с небольшим. Детей у них — хуже чем не было, единственный ребёнок погиб через несколько дней после рождения. Будучи дипломированным врачом-психиатром, поэт самостоятельно зарабатывал на пищу, жильё и водку в московской скорой. Автор трёх поэтических книг, две из которых вышли в Красноярске, одна — в «Советском писателе» на излёте перестройки. Он, несмотря на жуткий быт и кошмарную работу, был абсолютно свободен, отчего не вписался ни в «официоз», ни в «сам-тамиздат», законсервировавшись в виде спивающегося маргинала, «широко известного в узких кругах» своим талантом и добротой, ибо был он решительно беззлобен, что является редкостью не только в нынешние, но и во все без исключения времена... чтобы поэт был мягок и толерантен, а не орал на всех и не мстил городу, миру и близким за то, что он недооценённый гений.

Сюжет «Алика плюс Алёны» пересказать практически невозможно, как невозможно пересказать «Улисса» Джеймса Джойса или «Гропик Рака» Генри Миллера. На ста тридцати шести страницах машинописного текста этой мастерски сработанной стихоподобной прозы изложено, кажется, всё, что следует знать об экзистенции советского человека и его месте в мире перегнувшего социализма. Бесчисленные персонажи романа, зеркально отражаясь, кривляясь, слипаясь и раскатываясь, как шарики ртути, рыщут по душной Совдепии в поисках кислорода, идеалов, выпивки и любви. Любви с большой и маленькой буквы... Захватывает дух, как при катании на американских горках, при падении со стилизованно-библейских высот в бездну под матерным названием «... в рот, как я хочу. ...». На дне которой покоится сентиментальный дневничок комсомольского дурачка-студента, влюблённого в сокурсницу... Приём, срабатывающий как мощная

пружина, вновь возносящая читателя к неземному «возлюбленная моя, возлюбленный мой» через вертикальный разрез крови, грязи и спермы.

Зато фабула проста до жути: двое из поколения «дворников и сторожей», литераторы, именующие друг друга «Клещёв» и «Клопов», по пьянке трахают, а затем случайно убивают «честную давалку» по прозвищу Полковничиха, по имени Алёна. Отец которой, начальник военной кафедры провинциального мединститута, засадил в тюрягу её первого Алика, её единственную, как она всем рассказывает, любовь.

Лев Таран был мне другом. Мы родились с ним в одном городе и жили на одной улице, носившей имя убиенной революционерки Ады Лебедевой. Он был известный в городе поэт, студент-медик, я — школьник, взявшийся сочинять рассказы. Нас познакомили. Мы подружились.

Шли годы. Дата написания романа — 1975-1976, когда и я поселился в Дмитрове, поменяв с его помощью благоустроенную квартиру в центре К. на четвертушку шлакобетонного барака в так называемом «негритянском посёлке» завода фрезерных станков. У нас была своя компания, кучковавшаяся в мастерской Федота Федотовича Сучкова, скульптора, поэта и тоже нашего земляка. Там были люди знаменитые и не очень. Многих из них уже нет в живых. Компания сочиняла, пьянствовала, читала и обсуждала. Кажется, это называется литературной средой.

Лев Таран является прототипом отдельных персонажей моих рассказов, иногда даже фигурирует под собственным именем. В свою очередь, я, театральный художник Владимир Боер, писатель Эдуард Русаков, врач Валерий Царёв, масса других друзей, знакомых и собутельников Льва оказались тем сором, из которого выросли его стихи и проза последних лет. Столь резко отличающиеся от «раннего» Тарана, по непонятной, но, очевидно, закономерной случайности не получившего никакого чина в когорте выдающихся «шестидесятников».

И я свидетельствую, что если я и видел счастливого человека, то им был Лев Таран, сочиняющий это шоковое, жуткое, непристойное и (не НО, а И) гуманистическое сочинение, впитавшее «все мерзости блуда ея», то есть — советской власти, «власти рабочих и крестьян». Да, да, именно «ея»! Ибо за всеми этими внешне энергическими похождениями эрудированных тарановских «совков» сквозит тяжёлая уверенность персонажей, что и их, и страну, в которой они живут, покинул Бог. А если Бог отсутствует, как учитель, вышедший из класса, то не всё ли равно и не всё ли дозволено? Ответ Льва Тарана: не всё! Герой «Тропика Рака» остаётся в конце романа с кучей долларов в кармане, персонажи «Алика плюс Алёны» — с грузом мерзопакостного убийства на шее... Лев Таран писал роман, и всё у него шло в дело, как у рачительного, мастерового русского мужика, — и случайный трёп, и прочитанная книга, и цитата, и радиопередача... А когда закончился роман, закончились стихи, закончилась и жизнь. Больше ему здесь нечего было делать.

## УСПЕНСКИЙ

С Мишей Успенским мы встретились в городе К. за несколько лет до «чехословацких событий» в той арке на проспекте Мира (бывшем Сталина), что вела к кинотеатру «Пионер» и где тогда почему-то взялись крутить полуопробный фильм Анджея Вайды «Пепел и алмаз», повествующий о борьбе молодёжи против коммунистов в послевоенной Польше. — Знакомься, — сказал мне Роман Солнцев. — Это Миша. Он — школьник.

— И тоже поэт, — не удержался добавить сублинный школьник Миша, который, как выяснилось, шёл смотреть «Пепел и алмаз» в третий раз.

Ну, я в то время был уже студентом Московского геологоразведочного института имени С. Орджоникидзе, начинающим прозаиком, поживавшим в «Новый мир» в тщетном чаянии напечататься, — что мне там какие-то школьники, да к тому же поэты, хоть и родные земляки?

Однако совместный просмотр любимого фильма как-то сблизил наши критически относящиеся к идеям «зрелого социализма» души, и знакомство состоялось. Я узнал, что молодой человек, родившийся в 1950 году в Барнауле, где делают ракеты, нынче заканчивает школу и проживает с родителями — мамой-учительницей и отцом-инженером — там, где тоже делают ракеты, в городе К., но городе К. секретном, отстоящем от настоящего древнего К., где уже перекрыли Енисей, на N-ное количество километров. Сияя огнями своих секретных новостроек среди глухой неведомой тайги, окружённой для порядку и бдительности колючей проволокой и радарам.

Нельзя сказать, чтобы это сообщение вызвало у меня удивление. Коренные жители знали, что подобных «спутников» и просто «почтовых ящиков» вокруг города ещё больше, чем концлагерей, в которых пилила к.-ский лес и попутно перевоспитывалась весомая доля криминального элемента исчезнувшей страны СССР, где слово «зона» было популярно и до, и после фильма Андрея Тарковского, снятого по мотивам братьев Стругацких.

Встретились да и встретились. Потом жизнь развертела нас, я учился в Москве, и стали мне поступать с малой родины различные удивительные истории из жизни некоего Успенского, в котором я тут же вычислил своего давнего знакомца, школьника Мишу.

Что якобы он, студент факультета журналистики Иркутского государственного университета, участвовал в настоящей дуэли на охотничьих ружьях из-за прекрасной байкальской дамы...

Что он зарифмовал и охотно исполняет перед слушателями хитовые лозунги «развитого социализма», отчего они приобретают невиданную энергию, утраченную в ходе построения коммунизма в отдельно взятой стране, ибо звучат примерно так:

Эй вы, послушайте, бельдины!  
Народ и партия едины!..

И, наконец, что он сочиняет уморительно смешные рассказы, которые не годятся для журнала «Крокодил», а годятся для того, чтобы за них воткнуть «пару лет», да руки короткие: всё, с одной стороны, ясно и понятно, а с другой — завуалировано и как бы не о том, о чём вы думаете, товарищи!

Ну в самом деле: бдительный старый вохровец, насмотревшись «Семнадцати мгновений весны» женится на молоденькой сироте с целью изобличить её в шпионаже. Деревенской девочке нравится дяденька с квартирой, ей только непонятно, почему он такой странный и занудный. А когда она, не выдержав, всё же сбегает от него, прихватив маломесячное народившееся дитё и кой-чего из вещей для дальнейшей своей сознательной жизни и обеспечения прав ребёнка, старик волком воет в пустой квартире: опять обвела его вокруг пальца коварная «американская» разведка ЦРУ, опять не поймана очередная шпионка, так хитро заматававшая свои следы.

Или вот ещё: у одного мужика был такой дурной глаз, что как он на кого посмотрит, тому сразу же делается худо — в личной и общественной жизни, в финансовых и хозяйственных вопросах... Худо вообще! После множества трагикомических страданий мужик наконец-то находит своё место в жизни: он становится диктором Центрального телевидения и каждый день смотрит на нас своим вредоносным взором.

Или про некоего директора, который превратился в паукообразное насекомое, но и в таком виде уверенно руководил предприятием; одна беда, что питался он лишь бумажными деньгами, отчего и сжирал у подчинённых всю получку в день аванса и зарплаты, если они не успевали за своей получкой доглядеть (привет Францу Кафке с его «Превращением»!).

И так далее и тому подобное.

То есть к концу прежней эпохи, плавно перетёкшей в так называемую «перестройку» с её задорно-комсомольским «больше социализма», Михаил Успенский уже имел титул «сибирский сатирик-юморист».

Однако не случайно в начале своих заметок я упомянул безобразное слово «зона» вкупе со звонкими именами и фамилиями культурных людей: Анджее Вайды, Андрея Тарковского, братьев Стругацких.

Дело в том, что Михаил Успенский, возросший среди «совка», разумеется, хорошо знал сатирическую сторону жизни нашего богоносного народа. Но он ещё был и очень образованный, начитанный человек: сведущ в мифах всех времён и народов, структурализме, оккультных науках, восточной философии, истории религий, баллистике, производстве спирта из древесных опилок, служебном собаководстве, генетике, знал толк в языкознании и научном коммунизме.

Все эти решительно бесполезные при социализме предметы и интересы вдруг дали свои активные всходы, лишь взошло над нашей сельскохозяйственной страной солнце неокрепшей демократии.

Вкусный и питательный коктейль из того, что он видел и слышал всю свою сознательную жизнь, плюс то, что он прочёл и передумал, определили его романное мышление, где всё идёт в дело: случайно подслушанный разговор непотребных мужиков около пивного ларька и отблески неведомых глобальных теорий, которые пытались осуществить на практике в той «зоне», где прошли его детство и юность. Другого такого писателя со столь чутким ухом, чётким стилем и блестящей фантазией у нас, пожалуй, и сейчас нет. Не хочу никого обижать, в том числе и себя, но истории, полные фантазмов, мне в последнее время читать безумно скучно, а в случае с Михаилом Успенским — весело и хочется ещё.

Нельзя сказать, что Михаил Успенский не был отмечен публикой в своём новом качестве. На ура прошёл написанный им совместно с другим сибирским интеллектуалом, ныне живущим в Питере, Андреем Лазарчуком, роман «Посмотри в глаза чудовищ», где повествуется о втором пришествии поэта Николая Гумилёва, который явился из небытия на грешную землю, чтобы разобраться с коммунистами и другой нечистой силой. Повесть «Чугунный всадник» получила учреждённую Борисом Стругацким премию «Бронзовая улитка». Роман «Там, где нас нет» тоже был отмечен многими наградами.

Написанная увлекательно, смешно, книга эта вполне грустная, ибо она — о нас, о той планете, которая, по выражению поэта, для веселья мало оборудована. С другой стороны — это, извините за выражение, высоколобое, постмодернистское сочинение со всеми сопутствующими подобным сочинениям стилевыми и философическими изысками. И одновременно (вот парадокс!) — совершенно народное сочинение, но не по линии сусальности, посконности и откровений спившихся люмпенов, которых иногда почему-то считают солью нашей земли, а по другим, более важным параметрам. Путешествие в пространстве и времени насквозь литературных персонажей — русского богатыря Жихаря, кентавра Китовраса, библейского Соломона и других товарищей (в первоначальном, не искажённом большевиками смысле этого слова) — это ведь выплеск в большую литературу российского народного мироощущения с его лихостью, весельем, плачами, мечтами, иллюзиями, разочарованиями и неперменной брутальностью.

Чуден при любой общественно-политической погоде этот роман, где волшебника зовут Беломор, удельного князя — Микромир, а оскорблённый леший направляет героев по ложному пути к «ментам поганым». Думаю, этому роману суждена счастливая долгая жизнь книги читаемой и перечитываемой. Я ни на чём не настаиваю, но на моей книжной полке она стоит рядом с книгами Джонатана Свифта, Николая Гоголя, «Затоваренной бочкотарой» Василия Аксёнова и «Рукописью, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого.

Беда! Сам Михаил Глебович Успенский, почтенный прозаик, сюрреалист, ныне известный во всём мире, умер тринадцатого декабря 2014-го. А мог бы жить, если бы не умер, выражусь я в его духе.

## Шукшин

Осенью 1974 года Василия Макаровича Шукшина — писателя, актёра, кинорежиссёра — провожала в последний путь вся Москва, вся страна. Уже тогда его знали, уважали у нас решительно все, начиная от последнего сибирского бича и заканчивая начальниками СССР Леонидом Брежневым да Алексеем Косыгиным. Именно они, растроганные одним из последних шукшинских рассказов, щедрой рукою отвели полюбившемуся автору место на престижном Новодевичьем кладбище, где, как известно, до сих пор хоронят лишь «самых-самых».

Андрей Вознесенский написал тогда:

Хоронила Москва Шукшина,  
хоронила художника, то есть  
хоронила страна мужика  
и активную совесть.

Вспоминает Белла Ахмадулина:

«Около Новодевичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне: — Идите же! Вас — пустят.

Милиционер не пустил, у меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала:

— Я должна. Я — товарищ его...»

А Евгению Евтушенко, вечному сопернику Вознесенского на советском поэтическом олимпе, врезалось в память, как:

Шли толпами к гробу  
почти от Тишинского рынка.  
Дыханьем колеблемый воздух  
чуть слышно дрожал.  
Как будто России самой  
остановленная кровинка,  
весь в красной калине,  
художник российский лежал.

«Ну да, фильм „Калина красная“ про заключённого — это — конечно, это — само собой, хотя и отдаёт кичевым наивом. А ещё что? Романы? Романы как романы... Рассказы? Рассказы, может быть, и хорошие, но зачем они мне, когда всё это ваше советское время, о котором он писал и в котором жил, ушло, как вода в песок?» — может ляпнуть какой-либо современный интеллигент, чьё повседневное чтение ограничивается модными новинками, в изобилии рассыпанными по прилавкам нынешних книжных магазинов, где российская классика двадцатого века скромно таится по углам, явно выпадая из той

жёсткой цепочки, что на заре коммунистической цивилизации описал бородатый Маркс: «товар — деньги — товар».

А я вот всё думаю: истину ль изрёк граф Лев Николаевич Толстой, утверждая, что в России писатель должен жить долго? Или это была лукавая ошибка нашего национального гения, который к концу жизни всё метался, мучился да, наконец, и сбежал из дому, чтобы помереть на тихой станции, куда немедленно слетелись корреспонденты и любопытствующие?

Вот как пели тогдашние «бездуховные мешане», вскоре изведённые под корень «великой октябрьской революцией»:

Шла барыня из Ростова  
Поглядеть на Льва Толстого.  
А другая из Орла  
Сама не знала, куда шла.

Ведь и сам Василий Макарович, появившийся на свет двадцать пятого июля 1929 года, незадолго перед своей смертью жаловался газетному интервьюеру: «Ну какой результат! За пятнадцать лет несколько книжек куцых... мало сделано, слишком мало!»

Увы, он, как и Л. Н. Толстой, либо чего-то не понимал, либо темнил. Успел он сделать к отпущенным ему сорока пяти годам столько, что для какого-нибудь нынешнего деятеля культуры, которого до седых волос числят в начинающих, таковой результат укороченного жизненного пути немислим и невозможен.

Создал сто двадцать пять рассказов, и некоторые из них («Сураз», «Срезал», «Миль пардон, мадам», «Алёша Бесконвойный») являются общепризнанными шедеврами русской прозы.

Написал два романа. «Любавины» — о том, как расправились с русскими мужиками коммунисты после «переворота», как разорвали родовые крестьянские гнёзда и устанавливали «новый порядок», где правит тот, кто подлее. И «Я пришёл дать вам волю» — о том, как русский мужик Стенька Разин пытался опрокинуть Государство, а его за это прокляли на Руси, предали, продали, не поняли. Да и сам разбойник Стенька, которому бешенство, злоба и нетерпимость застили глаза, тоже до самого конца не осознавал, что, собственно, он делает.

Создал пять полнометражных фильмов о своих современниках, и все эти ленты не столько можно, сколько нужно смотреть, если хочешь ощутить себя живущим в своей стране, которая теперь именуется Российской Федерацией. Здесь ведь действительно про народ, именем которого любило клясться наше начальство всех времён, вечно ведущее этот народ вперёд с помощью идеологической морковки, что важно именуется светлым будущим. И народ — он разный, и наименование «простой человек» — не индульгенция. Об этом фильмы Шукшина, в этом, пожалуй, и весь он.

Снимался во множестве чужих кинокартин — и у мастеров, и у халтурщиков.

Посмертно получил Ленинскую премию за роль в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

Ещё была Государственная премия имени братьев Васильевых за фильм «Ваш сын и брат».

Государственная премия СССР за исполнение роли советского преобразователя природы инженера Черных в фильме «У озера».

Орден Трудового Красного знамени.

Звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

«Коль так, Макарыч,— не спеши,  
Спусти колки, ослабь зажимы,  
Пересними, перепиши,  
Переиграй,— останься живым!», —

умолял его младший товарищ и брат во искусстве Владимир Высоцкий в своих стихах «На смерть Шукшина», напечатанных, к слову сказать, лишь через пять лет после смерти «Макарыча» и за год до смерти самого Высоцкого. Увы, переиграть ничего нельзя. Да и не нужно, наверное.

Его именем названа улица в Новосибирске...

Бийский педагогический университет...

Бийский железнодорожный вокзал...

Литературный центр в Самаре...

Звезда в космосе...

Алтайский драматический театр и магнитогорский театр ключённых «За колючей проволокой»...

Теплоход, на котором он умер...

В Сростках успешно функционирует музей Шукшина...

Мемориальные доски имеются в Москве, Воронеже, Астрахани...

И наконец, в 2004 году на родине Шукшина ему был возведён бронзовый памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова. Высота сооружения — восемь метров, вес — двадцать тонн. Бронзовый Василий Макарович, даром что громадных размеров, сидит босой на горе Пикет, натурально так же, как в финале фильма «Печки-лавочки», откуда, собственно, и взято это его изображение.

То есть, уйдя из жизни в глухие годы застоя, Шукшин пережил советскую власть и теперь стал легендой. Вне зависимости от того, часто ли показывают его фильмы по телящику, какими тиражами печатаются его книги, читали ли их те десятки тысяч людей, которые ежегодно приезжают летом на Алтай, обеспечивая земляков писателя довольно выгодным туристическим заработком. Хотя при жизни Шукшина многие из тех же самых земляков его иной раз на дух не переносили, о чём остались устные и печатные свидетельства.

И всё это говорит о том, что человек он был штучный, уникальный, таинственный, взрывной, моторный. Такие экземпляры редко

рождала российская земля. Особенно в двадцатом веке, когда нация сломалась, пригнулась, притихла, расплзлась, устала, скукожилась в чуждой ей ауре навязанной коммунистами жизни.

А между тем биография Шукшина тривиальна, детали её характерны для миллионов его сверстников, которых не помнит никто, кроме ближайших родственников и друзей.

Родился он на Алтае, в той части большого сибирского села Сростки, которая именовалась Низовкой (ещё в этом селе были Мордва, Баклань и Дикари). Отца, Макара Леонтьевича Шукшина, арестовали в тридцать третьем году, тогда же и расстреляли. «За что?» — вопрос для советского человека «детский». Но вот то, что шили ему «повстанческую деятельность», — весьма серьёзно. Алтай в те времена был гораздо дальше от Кремля, чем сейчас, и не все ещё там склонили выю перед большевиками. Так что, может быть, и за дело погубили мужика, который головы ни перед кем не гнул, в отличие от многих других, уцелевших и растворившихся в соляной кислоте советской власти. Перечитайте «Любавиных», там именно такие «повстанцы» изображены.

Мать, Мария Сергеевна Шукшина, урождённая Попова, ради двух малых деточек вышла замуж за справногo мужика Павла Николаевича Куксина. Того взяли в сорок первом «на войну», и в сорок втором он на этой войне погиб. Мальчику было тогда тринадцать лет, и вскоре мать отправила его «в люди». Двух детей она прокормить не могла даже в щедрой, далёкой от фронта и военной разрухи Сибири.

А дальше пошла-понеслась люмпенская жизнь будущего классика, которую только сдуру, забыв горькую фразу Варлама Шаламова о том, что любой лагерный опыт отрицателен, можно назвать «моими университетами».

Безуспешно пытался он выучиться «на бухгалтера» — цифры в голову не лезли, с Бийским автомобильным техникумом распрощался «из-за непонимания поведения поршней в цилиндрах», в сорок седьмом году работал в тресте «Союзпроммеханизация» слесарем-такелажником, затем были турбинный завод в Калуге, тракторный — во Владимире, строительство электростанции в подмосковной Щербинке и моста в посёлке Голицыно, где, кстати, до самых крайних времён окончательной победы дикого капитализма в России существовал маленький и уютный Дом творчества писателей.

Но до всенародной писательской и киношной славы Василию Шукшину было ещё далеко. В сорок девятом его взяли в армию, после питерской «учебки» отправили в Севастополь, на Черноморский флот, где и прослужил он до января пятьдесят третьего, после чего был срочно демобилизован по причине открывшейся язвенной болезни желудка. Болезнь эта будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь, и не раз ещё ему лежать из-за неё «по больницам».

Вернулся в Сростки. В том же пятьдесят третьем сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости, а осенью уже был учителем

Сросткинской школы сельской молодёжи и одновременно её директором.

Зачем он в 1954 году стал кандидатом в члены КПСС, а годом позже полноправным членом этой единственной в СССР партии — вопрос тоже из разряда «детских». Ведь у сына казнённого «врага народа», который, кстати, до шестнадцати лет именовался по материнской фамилии Василием Поповым и только по получении паспорта стал настоящим Шукшиным, был *план*. Шукшин всегда хотел быть писателем. Не только в детстве, когда исписывал каракулями случайные листочки, но и тогда, когда стал, наконец, кинематографической знаменитостью. Он писал всегда, он спешил писать, как будто заранее знал, сколь кратким окажется срок его пребывания на земле.

И вот летом того же пятьдесят четвёртого он едет в Москву поступать. Поступать, чтобы стать писателем.

Ну, в Литературный институт, кузницу соцреализма, его, естественно, не взяли, несмотря на колхозно-пролетарскую биографию и партийность. Он ведь никогда не печатался и понятия не имел о творческом конкурсе, на который следовало подавать произведения заранее. Поэтому он решил выстрелить дулетом. Принёс документы во Всесоюзный государственный институт кинематографии, авторитетный ВГИК, и одновременно сдал вступительные экзамены в Историко-архивный институт, который вскоре покинул, окончательно укрепившись во ВГИКе.

Собственно, именно с этого года жизнь неизвестного деревенского паренька становится житием всемирно известного художника.

Ибо что, как не житие, — все эти апокрифы и анекдоты о чудесном внедрении малограмотного Васи в обитель самого профессионального из советских искусств? И важнейшего, как считал сам великий Ленин, который к году явления Шукшина в Москву уже мирно делил Мавзолей со своим преемником Сталиным. В стране началась хрущёвская «оттепель» — предтеча горбачёвской перестройки. Шлёпнули шефа госбезопасности Лаврентия Берию. Медленно потянулись на волю миллионы заключённых, которым повезло больше, чем отцу Шукшина. «Не согласен я с таким названием „оттепель“, это всё-таки весна, хоть очень ранняя», — написал тогда поэт, и в чём-то он, наверное, был прав: коммунизма у нас действительно больше нет, а хорошо это или плохо, пусть каждый гражданин России решает сам.

Дальнейшая жизнь Шукшина вся на виду, о чём имеется ещё большее количество воспоминаний, слухов и просто сплетен, растиражированных прессой и телевидением.

Самый нелепый из этих слухов гласит, что в сочинении, написанном Шукшиным на вступительных экзаменах, было более двадцати грамматических ошибок, но поверивший в него учитель Михаил Ромм написал поверх сочинения красными чернилами: «Атлично!» — и Шукшина приняли.

А самый яркий — это то, что однажды в общежитии ВГИКа раздался страшный шум непонятного происхождения, и выскочившие из комнат студенты с изумлением увидели, как их старший товарищ, бывший комсорг института, некогда предлагавший исключить из комсомола Людмилу Гурченко за её подражание модной в те времена аргентинской певице Лолите Торрес, тащит по коридору, подобно бурлаку с картины Репина, четыре ящика водки, чтобы обмыть с товарищами свой первый фильм.

Дрался с неграми...

По пьянке потерял на улице коляску с грудным ребёнком...

Женился раз, другой, третий...

Годами жил без прописки, без работы...

Торговал «фэйсом», то есть принимал любое предложение сниматься — лишь бы подзаработать денег...

Был невежествен, нервен до психопатии, вспыльчив, слезлив, категоричен, ненавидел интеллигенцию...

Единственное, в чём видел смысл жизни, — это снять фильм про Стеньку Разина...

Сами решайте — где тут правда, а где ложь. А лучше всё же заново перечитайте его рассказы. Ведь это тоже не ново, когда околотеатурные подробности окончательно вытесняют сущность того, что делал человек на земле.

О нём написаны сотни диссертаций, литературоведческих работ. Именем его клянутся политики и общественные деятели самых разных направлений — от черносотенцев до отъявленных либералов-западников. Кто-то толкует об эзотерическом смысле его явления на русскую землю, связывая это с алтайской Шамбалой, кто-то намекает, что не просто так он умер, а стубили его тёмные антирусские силы типа «сионских мудрецов», кто-то, совершенно наоборот, утверждает, что он вовсе не русский, ссылаясь на мордовское происхождение его предков по матушке, а также на то, что «шукша» — это древнее божество угро-финнов, своеобразный предстатель за грешных людей перед главным богом.

Его растащили в разные стороны, как того доброго космического мальчика из фантастического рассказа Рэя Бредбери. Мальчика, который вдруг оказался нужен *всем*.

А между тем причина всенародной любви к нему, временами переходившая в истерию, на мой взгляд, проста. Шукшин таинственным образом сумел задеть те Божьи струны беззвучной российской души, которые, оказывается, есть даже у самого отъявленного гражданина нашей страны — той страны, где вечно пляшут и поют, сажают, выпускают, убивают, рожают, возносят, ниспровергают, молятся, каются и грешат снова.

Где огромные просторы ограничены для многих тесным пространством тюремной камеры или блочной квартиры, где не зарекаются

ни от сумы, ни от тюрьмы, а земное человеческое бытие никогда не было комфортным и предсказуемым.

Где любое начальство — враг по определению, бунт — бессмыслен, беспощаден, и Россия убивает царя, чтобы на семьдесят лет погрузиться в обиденный ад колхозов, коммуналок, партсобраний, доносов и всенародного ликования по указанным, теперь уже новым начальством, поводам — вроде бесцельного освоения нищей империей космоса или успешного построения социализма в совращённых нами же соседних странах.

Где женщина из хранительницы домашнего очага стала тёмной тенью обабившегося советского мужика, той самой тенью, что посягает на самую суть разлагающегося оригинала, замещая его, пытаюсь превзойти неизвестно в чём — то ли во власти, то ли в пьянстве и разврате, то ли в стремлении к тому прогрессу, куда мы летели, как бабочка на свет засиженной мухами лампочки Ильича.

Отсюда в рассказах Шукшина все эти мелкие страсти, приобретающие эсхатологическое значение, отсюда фальшь и неестественность поведения простых людей, даже если они достигли «степеней известных», отсюда знаменитые шукшинские стервы и профурсетки, перманентно раздражённые, заедающие жизнь и себе, и своим мужикам, отсюда эта всеобщая боль, которая и составляет нерв его прозы.

Да и мужики, знаете ли, тоже хороши. Один, осатанев, церковь рушит бульдозером, другой свихнулся на том, что промахнулся, стреляя в Гитлера, третий купил шляпу и искренне не понимает, почему окружающие считают его дебилом, четвёртого приняли в магазине за алкаша, и он, изнывая от унижения, не находит ничего лучшего, как взять в руки молоток и пойти убивать обидчиков.

И дело тут вовсе не в противопоставлении города и деревни, Запада и Востока, пролетариев и интеллигенции. Всё это — внешнее, не главное. Главное вершится в глубинах человеческой души, подвергшейся в двадцатом веке невиданным дьявольским испытаниям во имя неизвестно чего.

А выдержит ли эта душа испытания — не знал Шукшин, не знаем и мы, оказавшиеся, в отличие от него, в новом времени со смещёнными координатами. Где многие из шукшинских персонажей вдруг стали натуральными хозяевами российской жизни, отчего она приобрела новые фантастические очертания, в чём каждый может убедиться, включив телевизор, прочитав газету или выйдя на улицу, где царит блатная музыка. А «начальство» в очередной раз заостенело, дивно укрепившись в условиях «неокрепшей демократии», прошу прощения за эту невольную игру слов.

И я не берусь гадать, не знаю, какое место занял бы Шукшин в нашей новой реальности. История страны и её литературы не терпит сослагательного наклонения. Шукшин умер второго октября 1974 года на борту теплохода «Дунай», так и не приступив к съёмкам

своего главного фильма, однако успев сделать всё, что только было можно, в той жизни, которая была ему отпущена. Я ничего не знаю, я просто благодарю его за всё, что было, есть и будет.

Р. С. Я закрываю глаза и мысленно переношусь на сорок восемь лет назад, в осень 1974-го, когда на колхозном рынке города Абакана внезапно узнал из обрывка газеты о смерти Василия Макаровича Шукшина.

Какой колхоз был в 1974 году, такой и колхозный рынок. Мясом ещё с утра отторговались. В провинциальных магазинах его тогда вообще не было, а на рынке за ним очередь занимали наудачу, к пустым весам, а уж будет ли на этих весах свининка, говядина или баранинка — это уж как повезёт; может, и вообще ничего не будет. Картошку ещё не всю распродали, в том году картошки много уродилось, орехи кедровые ещё продавали, грибы свинушки, мёд, алтайское мумиё, рябину, калину, берёзовые веники, грузины ещё торчали со своими баснословно дорогими фруктами.

Ветер гонял по мусорной базарной площади обрывок какой-то газеты, который вдруг чудом прибило к моим ногам. Я увидел некролог, знакомое лицо и сразу же всё понял, сразу же поверил в то, что Шукшина уже больше нет на земле. Год назад я был у него в Москве на улице Бочкова, пять, и тот, узнав, что я еду из города К. в Ленинград, написал мне записку к заведующему отделом прозы одного знаменитого ленинградского журнала на букву «З», где просил «Сашеньку» посмотреть рассказы «талантливого сибирского парня».

— Можно, я сам в редакцию не пойду, а рассказы по почте pošлю вместе с вашей запиской? — предложил я мэтру.

— Нельзя, — отрезал Шукшин. — Рассказы нужно самому в редакцию носить, это унижение входит в писательскую профессию. Я вот позавчера к этому самому Сашеньке в гостиницу ходил, как проститутка. На подборку его уговаривал. . .

— Так вы же лауреат, разве у вас тоже есть какие-то проблемы?

— Не того я сорта лауреат, чтобы всё моё с колёс печатали. Всё пробивать приходится.

— Не знаю, как я с такой рожей в редакцию пойду, — гнул я своё.

Шукшин подошёл совсем близко и как-то по-киношному, по-режиссёрски осмотрел моё лицо.

— Роба как роба, — констатировал он. — Можно с такой рожей по редакциям ходить. Только пьяный по редакциям не ходи. Пьяный вообще никуда не ходи, сиди дома да пей, — неожиданно вывел он. И добавил: — Вообще, я ж говорю, уезжать тебе надо из твоего города К. Там у тебя три пути-дороженьки: или посадят за длинный язык, болтаешь ведь всё, что в голову придёт, или сопьёшься. . . ты, видать, в этом деле, судя по рассказам, здорово соображаешь, или, что хуже всего, станешь комсомольским писателем, будешь сочинять, как это полезно — везде в Сибири ГЭС строить.

— Волки по этим редакциям сидят, — гнул своё я.

— Какие волки! — воскликнул Шукшин. — Не волки, а шакалы гребучие, — употребил он непристойное прилагательное.

Окрылённый его словами, я вышел на улицу Бочкова и, думая о наказах Мастера, с разбегу налетел на какую-то деревяшку временного тоннеля, возведённого около дома Шукшина по случаю перманентного строительства Москвы. Больно было, но меня дожидался на улице с литром водки мой верный товарищ, уже известный читателям поэт Лев Таран, автор подпольного романа в стихах «Алик плюс Алёна», выдающегося сочинения, которое увидело свет лишь в постперестроечные времена, когда его создатель уже давным-давно лежал в могиле на Красной Горке подмосковного города Дмитрова.

Мы распили литр непосредственно перед моей посадкой в поезд «Красная стрела». А одет я был тогда так — коричневая мятая шляпа без ленты, сапоги и чёрное кожаное пальто, скорее всего снятое много лет назад с убитого фашистского лётчика и проданное мне за пятнадцать рублей на Покровском рынке города К., подобном вышеописанному, абаканскому.

Поэтому, когда я явился в чинную ленинградскую редакцию следующим ранним утром, «дыша духами и туманами», с огромным фингалом под левым глазом, и сказал заплетающимся языком, что вот письмо от Василия Макаровича, рукопись у меня интеллигентная питерская старушка в седых кудельках с ужасом, но, конечно же, приняла, однако из журнала «З.» мне не ответили ничего и никогда, даже когда я лично познакомился с «Сашенькой». Это случилось уже после того, как через два года после смерти Василия Макаровича у меня вдруг напечатали в самом престижном литературном журнале тех лет «Н. М.» целых два рассказа с предисловием «легендарного Шукшина», я «проснулся знаменитым», и меня стали приглашать «принести что-нибудь» в те литературные места, где ещё вчера гнали в шею.

Однако «недолго музыка играла». Проснулся-то я знаменитым, меня приняли на этой волне в Союз советских писателей, однако рассказы всё равно не печатали. Мелкотемье, пьянство, непочтительность, народный секс и — «вы сами всё понимаете». Тут и возник скандал с неподцензурным альманахом «МетрОполь», последний крупный литературный скандал времён «развитого социализма». Из Союза писателей, где я пробыл рекордно короткий срок — семь месяцев тринадцать дней, меня тут же выперли. Ну и ладно! Зато я всю последующую жизнь провёл с дивными людьми: Аксёнов, Алешковский — родившийся в Красноярске автор всенародно любимых песен «Товарищ Сталин, вы большой учёный» и «Окурочек», Ахмадулина, Битов, Вознесенский, Ерофеев, Искандер, юный Петька Кожевников, мудрый Липкин и другие светлые личности канувшей эпохи.

Елена Половинкина

## Памятник в глухой тайге

В Красноярском крае, в Северо-Енисейском районе, в устье ручья Херек, в месте его впадения в речку Лендаху — правый приток Большого Пита, на краю поляны среди тайги стоит каменный памятник из лабрадорита. Постамент изготовлен как ствол дерева с грубо нанесённой корой, места «сучьев» отполированы. Наверху — каменный же крест, тоже из лабрадорита, в виде отпиленных стволов деревьев. Памятник поставлен енисейскому мещанину П. П. Шабанову, на нём дата смерти: 12 августа 1912 года, — и прощальные слова скорбящей супруги.

Как в глухой тайге оказался такой памятник?!

Но вначале о камне, из которого он сделан. Среди огромного множества горных пород, слагающих нашу землю, по-настоящему редки камни чисто чёрного цвета. Но есть один, который образует большие месторождения, — это лабрадорит. Камень красив ещё и тем, что некоторые кристаллы, слагающие его, светятся из глубины синим или голубым цветом! Это удивительное явление, получившее название «иризация», давно изучено физиками и минералогами. Для непосвящённых же людей оно кажется маленьким чудом. Когда порода была впервые найдена на полуострове Лабрадор (Северная Америка) в конце восемнадцатого века, она произвела фурор — светящийся камень! Синие «павлиньи глаза» выпиливались, и из них делали ювелирные украшения в сочетании с бриллиантами. Но после открытия огромных массивов лабрадорита на юге России мода на этот камень как ювелирный прошла. Его стали использовать и используют до настоящего времени в основном как траурный: он считается самым благородным для изготовления надгробий или постаментов памятников. Отметим, что это одна из главных пород в отделке Мавзолея В. И. Ленина.

В наше время лабрадоритовые памятники, как и все остальные, делают в виде плит, но на старых кладбищах ещё можно встретить памятники, оформленные под «стволы деревьев», как и тот, с которого я начала рассказ. Небольшие участки, имитирующие отпиленные ветки, отполированы под надписи. Такая форма связана с технологией обработки: делать отпилы на камне раньше было сложно, проще обработать его «под кору». Кроме того, для таких памятников использовались сравнительно небольшие камни. Это не отпиленные современными механизмами плиты...

«Таинственность» с памятника снял рассказ ветерана-геолога Владимира Александровича Кокоурова, большую часть жизни прожившего в Северо-Енисейске.

Пётр Петрович Шабанов, которому поставлен памятник, не был каким-то выдающимся человеком. Он служил золотодобытчику Титу Зотову. В обязанности Петра Петровича входили присмотр за зимовьем в устье ручья Херек и за дорогой, которую «несанкционированно», то есть без плана и согласований с губернским начальством, Зотов проложил от Енисея до своего прииска в североенисейской тайге. Как-то весной Шабанов, переходя Лендаху, провалился под лёд, ему удалось выбраться и дойти до зимовья, но купание в ледяной воде не обошлось даром, через несколько месяцев он умер. Похоронили его прямо на зимовье. Через год или большее время — мы не знаем, да это и не важно, — по санному пути был привезён его вдовой этот памятник. Владимир Александрович говорит, что в начале семидесятых годов, когда ему приходилось бывать в тех местах, ещё просматривались на поляне основания заброшенных строений, «зотовская» дорога в те годы угадывалась только по густому мелкому осиннику, выросшему на ней, да сохранившимся кое-где остаткам сгнивших гатей. Буквы на памятнике тогда ещё сверкали сусальным золотом, которое кто-то уже пытался соскоблить.

В 1987 году на этот памятник случайно в маршруте вышел Алексей Анатольевич Ладынин, начальник геохимической партии Комплексной тематической экспедиции. Их партия тогда проводила региональную геохимическую съёмку в южной части Северо-Енисейского района. Можно только представить его удивление! В 2007 году геохимическая партия вновь проводила работы в этих местах. Молодые геологи, вдохновлённые рассказом Алексея Анатольевича, сходили к памятнику, хотя путь был неблизкий — сначала на машине, потом три часа пешком по полузаросшей тропе. Золота на буквах уже не сохранилось (даже на фотографиях видны соскобы), кто-то пытался выбить из монолитного куска породы и сверкающие кристаллы, но не смог, только поцарапал лабрадорит вокруг них. Камень покрыт лишайником так, что вполне можно принять его за настоящее дерево. Правда, надписи не заросшие: видимо, редкие таёжники, бывающие здесь, чистят их, чтобы прочитать. Крест на памятнике упал сам или кто-то пытался утащить его, да сил не хватило. Добрые люди поставили его снова, укрепив камнями. Ни следов дороги, ни строений на поляне не осталось. Стоит только одинокий памятник...

У Виктора Петровича Астафьева в замечательной книге «Царь-рыба» есть рассказ о гибели одного из рабочих геологоразведочной партии в туруханской тайге. Здесь же и похоронили его товарищи, поставив на могиле пирамидку, вырубленную из ствола кедра. Вот так заканчивается рассказ:

«Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске. Он нарочно сделал отворот, долго шарился по мрачной речке Ерачимо, пытаясь найти место, где стоял и работал их геологический отряд. Но сколь ни бегал по речке, сколь ни кружил в урёме, следов геологов и могилы друга найти не мог.

Всё поглотила тайга».

Следы временного жилья, скромную могилу поглотила тайга за несколько лет. А камень стоит!

И через столетие трогательно читать:

*«Дорогому супругу от любящей жены последний подарок. Под сим памятником покоится прах Петра Петровича Шабанова, скончавшегося 12 августа 1912 года, проживши на свете 42 года. Мир праху твоему».*

Лабрадорит синими глазами равнодушно смотрит на тайгу, но хранит память о чужом горе, волнующем сердце...



Фото Анастасии Панкратовой

Николай Юрлов

## Ренессанс старинного промысла

Как сибирские первопроходцы возрождали  
былую славу «стекла Московии»

Даже в восьмидесятых годах девятнадцатого века, с появлением в Енисейской губернии добывающей промышленности и различных кустарных производств, центральная её часть представляла собой настолько неизученную в геологическом плане территорию, что здесь можно было запросто совершить новые открытия месторождений полезных ископаемых. При этом вовсе не требовалось снаряжать поисковую экспедицию, подбирать нужных людей — достаточно было отправить на геологическую экскурсию учащуюся молодёжь, движимую жаждой знаний.

### В поход за белой слюдой

Так, собственно, и случилось с переездом в Красноярск выпускника Санкт-Петербургского императорского университета Василия Златковского, когда он получил приглашение в местную учительскую семинарию. Это едва ли не первое профессиональное учебное заведение Красноярска готовило будущих педагогов для народных школ — в глубинке всегда особенно значим и востребован благородный труд учителя. Именно поэтому преподаватели семинарии в течение трёх лет, отведённых для обучения, старались дать максимум знаний своим подопечным, кто уже в скором времени должен был «сеять разумное, доброе, вечное» и всегда при этом помнить, что «школа есть преддверие государства».

Последняя крылатая фраза — плод творчества директора Красноярской учительской семинарии и тоже выпускника Санкт-Петербургского императорского университета по естественному разряду Ивана Савенкова, обогатившего археологическую науку открытием стоянки древнего человека на Афонтовой горе. Но свои достижения были также и у Василия Златковского. В числе очень немногих красноярцев он покорял «Столбы», открыл на Торгашинском хребте следы древней фауны, а в 1883 году дипломированный петрограф предложил Императорскому Русскому географическому обществу организовать летние геологические экскурсии в бассейне Енисея, чтобы описать горные породы ещё не изученной местности.

Под руководством своего классного наставника (а таковым Василий Корнилович и являлся по штатной должности в семинарии) учащаяся

молодёжь делала раскопы по берегам Енисея и Кана, встречалась с местными жителями, расспрашивая их детально об особенностях данной местности, и география как будущий учебный предмет всё более наполнялась живым содержанием. «Региональным компонентом», как бы сказали сейчас. К примеру, возле села Атаманово семинаристы обнаружили жилы полевого шпата, содержащие листья белой слюды. Это неожиданное открытие наставник Златковский отразил в «Кратком отчёте о геологических экскурсиях, совершённых на средства Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества в 1883 и 1884 годах по Канскому и Красноярскому округам Енисейской губернии»:

*«В прежние времена, говорят, большие листочки белой слюды добывали для окон вблизи села Атаманово в горах левого берега Енисея».*

Задержись Василий Корнилович в Красноярске ещё на какое-то время, он, возможно, существенным образом дополнил бы историю слюдяного промысла в Приенисейском крае. Ведь никто ещё не находил промысловую слюду в непосредственной близости от губернского центра и не исследовал её происхождение в Атаманове. Известно лишь, что деревню Озёрную (будущее село Троицко-Заозёрное) вместе с рабочими Троицкого солеваренного завода заселяли в восемнадцатом веке также и выходцы из Сухобузимской волости, уже знакомые со слюдой и возможностью её использования в крестьянском хозяйстве. А встретились бы им в тайге слюда, они бы мимо никак не прошли...

На следующий год сезонный маршрут Златковского пролегал через Московский тракт и захватывал бассейн реки Кан вплоть до её впадения в Енисей. Особо стоит отметить, что богатства недр возле деревни Баргинской не меньшим образом поразили классного наставника семинарии. Дело в том, что ещё сравнительно недавно в этих местах добывал железо купец второй гильдии Алексей Яковлев. Правда, дальнейшее производство прекратил — не порода истощилась, просто железо получалось некачественным, кричным. Отливали его бесформенным образом, кустарно, а наспех изготовленный продукт разве выдержит конкуренцию?

Но наряду с железной рудой и поваренной солью среди скального грунта в районе деревни Баргинской раскопы красноярских семинаристов показали ещё и слюду. Кроме того, её выходы имелись также и южнее, по правому берегу реки Рыбной. В действительности так далеко на юг Баргинское (Канское) месторождение не простиралось; по-видимому, здесь были отмечены Златковским лишь отдельные проявления слюды. Впрочем, последнее обстоятельство не мешало говорить о наличии в бассейне Енисея целого скопления слюдяных жил, но петрограф такой исследовательской задачи перед собой не ставил, ему важно было описать горные породы, а всё остальное — это уже прерогатива разведчиков недр.

Возможно, именно поэтому Златковский не стал первооткрывателем Баргинского слюдяного месторождения, как не стал им также и сибирский промышленник и меценат Михаил Сидоров, который ещё раньше побывал здесь, на берегах Кана, когда искал в его верховьях россыпи золота.

Специального образования Михаил Константинович не имел, но он хорошо учился в Архангельской гимназии, получил у сибирских старателей отличную практику и мог, естественно, отличить одну породу от другой. В частности, полученные навыки позволили ему обнаружить на реке Кан выходы слюдяных жил. Однако, как справедливо заметил один из маститых представителей сибирской геологической науки, «это открытие на судьбе месторождения не отразилось». Никто сюда после Сидорова, кроме Златковского и его семинаристов, так быстро, как хотелось бы, с геологической разведкой не появился. Это случится только спустя двадцать лет, с приходом на берега Кана горных техников братьев Косовановых. (Совсем иное дело — туруханский графит, который стали добывать на Курейке, Нижней Тунгуске и Фатъянихе. Открытый Сидоровым, он почти сразу же пойдёт за границу, а через столетие его промышленную добычу начнёт производственное объединение «Красноярскслюдаграфит», где Заозёрновская слюдяная фабрика станет головным предприятием с развёрнутой сетью структурных подразделений.)

Но с высоты наших дней, может быть, не очень корректно судить о том, чего не удалось сделать исследователям прошлых столетий для развития слюдяного промысла, поскольку на тот момент в России существовали и вполне объективные причины. Уже к началу девятнадцатого века слюдяная отрасль откровенно пришла в упадок: в оконном деле мусковит (белая слюда), стремительно начавший своё триумфальное шествие по всему Московскому государству и Западной Европе, решительно проиграл стеклу. Открытая академиком Санкт-Петербургской академии наук Эриком Лаксманом новая технология варки стекла без использования дорогостоящей древесной золы позволила насытить рынок более качественной и дешёвой продукцией, и она тут же находила потребителя в городах и весях. Первым предприятием, которое на практике применило метод шведского учёного, принявшего русское подданство, стал Тальцинский стекловаренный завод в Иркутской губернии. А следом за ним, но уже через несколько десятилетий, стекольное производство появилось и у красноярского предпринимателя Ивана Коновалова — к середине девятнадцатого века Знаменский стекольный завод, находившийся в Заледеевской волости, в полусотне вёрст от Красноярска, уже в большом количестве производил листовое стекло, снабжая им Енисейскую, Томскую и Иркутскую губернии. Именно благодаря «стеклянному заводу г. Коновалова везде вместо слюды и пузырей заступило стекло», — зафиксировал это событие для потомков в своём

хрестоматийном труде «Енисейская губерния» её первый губернатор Александр Степанов.

Естественно, что при отсутствии спроса на слюду никому и в голову не пришло бы вести поиски новых месторождений, а старые копи в сложившейся ситуации всё более приходили в упадок, постепенно ветшали, оказавшись полностью заброшенными. Даже специалисты горного дела имели весьма смутное представление о состоянии слюдяного промысла в родной стране и существующих запасах минерала, но в связи с развитием мировой электротехнической промышленности именно в нём вдруг возникла острая необходимость. Необыкновенно высокие изолирующие качества, а также свойства противостоять действию высоких температур и не поглощать влагу — всё это создавало предпосылки для неожиданно скорого возвращения слюды в добывающую отрасль. Но вот ведь что характерно: первым вспомнил о былой славе «стекла Московии» иностранный капитал, проявивший несомненный интерес к слюдяным месторождениям на Русском Севере и в Восточной Сибири.

### ПРОЗРАЧНЫЙ МИНЕРАЛ ЕДЕТ В АНГЛИЮ

Особенно преуспели в своей экспансии англичане: ещё при Иване Грозном они получили право беспошлинного провоза товаров в устье Северной Двины и далее на восток, до «златокипящей» Мангазеи. Но, как известно, Мангазейский морской ход первым царём из династии Романовых ещё в 1619 году был запрещён, чтобы не допустить проникновения чужестранцев в русские территориальные воды. Да разве «владычицу морей» в своих колониальных устремлениях остановишь? Как только промышленник Сидоров привёз первые партии графита в Лондон, англичане тут же заговорили про слюду — очень уж им хотелось стать совладельцами сибирских месторождений, о которых они были не только наслышаны. Промышленная разведка на Западе всегда, во все времена, работала как швейцарские часы!

Пожалуй, только смерть предпринимателя и мецената, отстаивавшего в высоких столичных кабинетах идею Северного морского пути, не позволила Михаилу Константиновичу заняться ещё и слюдой. Зато вместо него за это дело быстро ухватился бывший приказчик из города Енисейска Иван Черемных, который благодаря золотым жилам сделал себе огромное состояние, заполучив в свои руки десять подземных рудников, один из которых носил говорящее название «Эльдорадо». Когда в губернском центре в сентябре 1892 года проходила Первая сельскохозяйственная и промышленная выставка и отпетые красноярские мошенники прямо с витрины увели крупный самородок золота, представленный для любопытных обывателей Иваном Дмитриевичем, он особо не опечалился. Да разве же это для него урон, если даже Великобритания делает заявку на сибирскую слюду?

Уже на следующий год купец первой гильдии отправил на свои средства поисково-разведочную экспедицию под началом горного инженера и дворянина Ивана Азанчевского в ангарскую деревню Кондаки. Именно здесь ещё в семнадцатом веке вёл свою бурную деятельность по добыче мусковита пионер горной промышленности Приенисейского края Алексей Жилин. И сколько же с тех пор воды-то утекло!..

Молодой красноярский историк Юрий Ромашков установил, что именно удалось осуществить экспедиции, с чем конкретно она столкнулась в ангарском поселении, изучая слюдяные жилы будущего Кондаковского месторождения на реке Тасеевой. Как оказалось, остатки старинных выработок представляли собой несколько квадратных площадей по четыре с лишним метра длиной и шириной, при этом их глубина не превышала и десятка метров. И всё это было заполнено водой, валежником, хотя в отвалах ещё содержались обрезки слюды. Рабочим экспедиции оставалось лишь прорыть в этих местах крупные каналы, углубившись в грунт до двадцати пяти метров. Здесь-то и были обнаружены открытые выходы слюды, абсолютно пригодной для последующей промышленной эксплуатации, не требующей строительства шахт.

В связи с этим радостным событием можно было рапортовать об успешном завершении поисковой экспедиции: поднято на-гора двести пудов, из них четвёртая часть отсортирована по нужным кондициям. А это означало, что площадь каждой отобранной слюдяной пластины составляла не менее десяти квадратных дюймов (свыше шестидесяти квадратных сантиметров). Но были и более крупные по своим размерам экземпляры, которые Черемных и отправил в Англию, получив от зарубежных партнёров своё «добро».

Судьба Кондаковского месторождения определённо могла быть решена уже в конце позапрошлого столетия, но внезапная смерть постигла инициатора столь непростого предприятия, сопряжённого с тяжёлыми транспортными условиями выхода на европейские рынки. Что касается Азанчевского, он попросту не сумел реализовать идею старшего товарища и компаньона по бизнесу. Единственное, на что хватило горного инженера,— так это подготовить небольшую статью в столичный журнал «Вестник золотопромышленности и горного дела», куда он временами корреспондировал. В ней он давал очень дельный совет, основанный на собственном горьком опыте: не используйте динамит при бурении, а лучше замените его порохом, это позволит сберечь лучшие куски слюды. В остальном же сообщал довольно-таки банальные вещи:

*«...требование слюды в настоящее время значительно увеличилось при развитии электричества, где слюда служит лучшим изолирующим материалом».*

Искушённый читатель ведомственного журнала, думается, и без Азанчевского это хорошо усвоил, поскольку цена на слюду подскочила

на рынке до ста рублей за пуд. А это были по тем временам очень большие деньги, но ведь и разработки месторождений не обходились без затрат!

При характерном застое, который переживала всемирная горно-заводская промышленность в начале прошлого столетия, именно добыча слюды была способна внести в отрасль заметное оживление. И если прежде слюда не причислялась ни к разряду ценных, ни к разряду цветных камней, то уже после 1902 года, узаконившего слюду в горной «Табели о рангах», с ценностью этого слоистого минерала, добыча которого уходила в глубину веков, просто были вынуждены считаться. Не только по своей значимости для дальнейшего развития электрификации, но и по заявленной стоимости он ближе всего подходил к этой категории.

Первые ласточки возрождения слюдяного промысла Енисейской губернии дали о себе знать уже в 1903 году, когда на Кондаковском месторождении вновь началась добыча мусковита. И всё же радоваться было преждевременно: как оказалось, эти разработки опять-таки были всего лишь геологическим эпизодом. Енисейский горнопромышленник, «некто Замараев», выходец из мещанского сословия, поднял из копей по берегам реки Тасеевой «крупные и отвечающие требованиям рынка образцы слюды, но дело также заглохло».

Анализируя эти промышленные неудачи, сибирский корифей горной отрасли Константин Тульчинский, ставший при наркоме Генрихе Ягоде «пособником царского режима» со всеми вытекающими отсюда последствиями, называл вероятные причины, из-за чего дело у предпринимателя не пошло. Удалённость месторождения от Сибирской железной дороги, конечно, серьёзно затрудняла сбыт продукции, но не была при этом доминирующей, поскольку очень сильно сказывалось отсутствие специалистов по добыче слюды.

Собственно говоря, как взрывники пытались действовать? Самым примитивным способом — лишь бы получить доступ к слюдяным жилам, совершенно не ведая о том, что крупные кристаллы отличного качества можно при взрыве тут же «разбить в мелочь». Мало того, никто из владельцев слюдяных копей понятия не имел об особенностях залегания Кондаковского месторождения и, уж конечно, даже не представлял, что в результате тектонических сдвигов и разломов, миллионы лет тому назад протекавших на Земле, оно не сформировалось как единое целое.

Несмотря на общую протяжённость около трёхсот километров, этот не слишком широкий слюдяной район состоит из ряда отдельных массивов, выходящих из осадочных пород на поверхность. Выходит, белая слюда, найденная возле села Атаманова красноярскими семинаристами, — это тоже часть Кондаковского месторождения. Так далеко разбросало мусковит, имевший здесь характерный цвет — «прозрачно-белый и в толстых листах дымчатый».

И сколько же ещё тайн хранил в себе Енисейский кряж — эта невысокая горная цепь, которая вытянулась с севера на юг вдоль великой сибирской реки, захватив ещё и пространство к востоку от неё. Всё надо было исследовать!

### ПЕШКОМ ПО ЕНИСЕЙСКОМУ КРЯЖУ

Но только Вячеслав и Виктор Косовановы, прибывшие на Кондаковское месторождение в тот же самый год, что и Замараев, первыми решили пройти по Енисейскому кряжу вплоть до впадения в Кан реки Барги. Братья-погодки, за плечами у которых было Алтайское горное училище и опыт золотодобычи в Минусинском горном округе, они, конечно, могли исследовать выходы слюды по реке Тасеевой, поскольку именно разведку этого минерала им поручили енисейские горнопромышленники, финансировав поисковые работы. Возможно, так бы всё и случилось, но молодым горным техникам хотелось большего, перед глазами рисовались картины, которые обещали перспективы самостоятельной горнодобычи. И остаётся только догадываться, как удалось убедить двум братьям организаторов разведочной экспедиции, но лучшие экономические условия, в которых могла находиться слюда, были далеко не последними аргументами: это и заселённость и хлебородность Канского уезда, и близость к Великому Сибирскому пути, а также наличие грунтовых коммуникаций, ведущих к железнодорожной станции Троицко-Заозёрная.

Но Косовановы убеждали, что называется, чисто эмпирически, полагаясь на своё наитие, без которого геологами никогда не становятся. Не последнюю роль сыграли, конечно, и те разрозненные сведения, которые доходили от старателей, промышленявших в верховьях Кана: ведь где золото, там же в скальном грунте и кварц, и полевой шпат, и слюда. Весь вопрос только в том, сколько её в месторождении. (Интуиция горных техников не подвела: золотоносный прииск «Богунай» находился рядышком.)

В начале прошлого столетия считалось, что геологоразведка слюды — не самое сложное дело, поскольку главное — определить только форму самого месторождения и горнотехнические условия его добычи. Что же касается подсчёта запасов, то он мог быть весьма условным, поскольку чаще всего слюда залежала хаотично, и действительную ценность слюдяных залежей можно было определить уже по результатам самой разработки.

Но на Баргинском (Канском) месторождении геологоразведочные работы усложнились, здесь всё было не так просто. Помимо кварцево-слюдяных жил, на заявленных для отвода площадях присутствовали ещё и минералы, содержащие редкоземельные металлы. Конечно, в то время никто и не собирался их добывать, а вот мусковит привлёк внимание даже французских геологов, вкупе со своими торговыми представителями они хотели организовать на берегах

Кана иностранную концессию. Но всё оказалось лишь протоколом намерений: события в мире развивались стремительно, до рокового выстрела Гаврилы Принципа в Сараеве оставалось совсем ничего...

В общей сложности горный техник Виктор Косованов открыл пятнадцать выходов слюдяных скоплений, выявив для себя и некоторые закономерности при разработке жил смешанных минералов (пегматитов). Эти наблюдения позже были подтверждены и сибирским учёным-геологом Иннокентием Молчановым в «Заметке о Канском месторождении полевого шпата»:

*«Хорошие слюдяные жилы, дающие наибольший процент выхода крупной слюды, почти не содержат полевого шпата. Чем больше появляется шпата, тем меньше шансов встретить хорошую слюду».*

Геология как наука не стояла на месте, она готова была прийти на помощь разработчикам месторождений сибирской слюды, чтобы можно было добывать минерал не только «по признакам», как делалось прежде, а по конкретным рекомендациям учёных.

Уже в конце двадцатых годов, когда Виктор Петрович Косованов получил пять лет лагерей как «враг народа» и участник контрреволюционной организации, его старшему брату Вячеславу Петровичу пришлось выступать с докладом на Первом Сибирском краевом научно-исследовательском съезде, оценивая результаты совместной геологоразведочной деятельности на берегах рек Кана и Барги. Сделать это было очень непросто, тут каждое слово могло стать приговором, окончательным и обжалованию не подлежащим. Поэтому очень значимо то, что сообщил делегатам Вячеслав Петрович Косованов, который, к несчастью, тоже угодит под маховик политических репрессий, отправившись по известному «ежовскому набору» в тридцать седьмом:

*«Канское месторождение по содержанию слюды не уступает канадским, а по качеству даже индийским; ещё более выгодным делает эксплуатацию близость месторождения к железнодорожной магистрали и хорошие условия транспорта. Утилизируя при добыче как все слюдяные отбросы, так и побочные минералы, какими являются ортоклаз и кварц, можно ещё удешевить себестоимость слюды».*

По вполне понятным причинам старший Косованов, которого в городе на Енисее величали не иначе как «профессор Красноярского края», умолчал на съезде о том, что фактически его младший брат вытянул на себе всю тяжесть последующих геологических разведок новых слюдяных жил. И только учёный-геолог Константин Тульчинский в своём докладе «О сибирской слюде» всё-таки назвал вещи своими именами: ничего бы этого не было, если бы не «любовь к делу техника Косованова». Вот уж настоящая головоломка для «специальных товарищей»: два брата Косовановы имели даже одинаковые инициалы «В. П.», вот и гадай, кто есть кто...

Без него, Виктора Петровича Косованова, не было бы ни товарищества «Горнорабочий», ни слюдяных разработок на руднике «Случайный» — только здесь, на этой одноимённой жиле, и велась добыча мусковита. По финансовым соображениям эти копи в канун Первой мировой войной пришлось передать акционерному обществу «Сибирская слюда», которое почти сразу же перешло на промышленную технологию, используя шахтный способ. Почему его не мог применить Косованов? Ведь он понимал, что разработка месторождений слюды открытыми карьерами — это уже вчерашний день. Всё достаточно просто: переход на подземные выработки был абсолютно невозможен при наличии небольшого прибавочного капитала. А товарищество «Горнорабочий» им не располагало, поскольку и не выходило на большие объёмы добычи, несмотря на то что цена на экспортный мусковит подскочила в десять раз: теперь пуд листовых пластин стоил тысячу рублей. За слюдяные разработки буквально хватались случайные искатели лёгкой прибыли, делая заявки на отводы земли возле деревни Баргинской, но после первых же неудач опускали руки (дедовским методом здесь ничего не добьёшься) и переуступали свои права на разведку и эксплуатацию «Сибирской слюде». Как особо ценному специалисту, более того — первопроходцу, уже изучившему месторождение, Виктору Петровичу столичные владельцы предложили должность управляющего. По крайней мере, так считает зеленогорский исследователь Геннадий Волобуев, ссылаясь на личный архив Александра Косованова, третьего брата из большой семьи минусинского горного служащего и арендатора Абаканского железодобывающего завода Петра Косованова.

Но даже новые технологии добычи не могли отменить тех особенностей, которыми отличались слюдяные разработки и которые существенным образом влияли на производительность труда; только о таких тонкостях знали лишь опытные горнорабочие, обладающие особым искусством, ловкостью и завидным терпением. Новички же, лихо орудуя кайлом, могли сгоряча всё испортить. Как известно, паровые отбойные молотки ещё только-только начинали использоваться на ломке слюды, да и то преимущественно в зарубежной горнопромышленной практике.

*«Умело вынуть слюду, не разбивая её листы, — отмечал известный в отрасли минералог Илья Гинзбург, — дело большого навыка и не поддающееся обычным приёмам бурения. Приходится буквально ухаживать за каждым большим кристаллом слюды, старательно его выбивая».*

Вот почему владельцы «Сибирской слюды», поставившей сортовой мусковит на экспорт, а также в столицу Российской империи, заботились о том, чтобы ценный минерал добывали постоянные рабочие, а не временные люди, которых хоть завтра можно выгнать, набрав вместо них новых. Для этих целей, естественно, требовалось

создать определённые условия: на «Случайном» уже сформировался фабричный посёлок, где было построено пятнадцать деревянных жилых домов для рабочих и инженерно-технического персонала. Кроме того, имелись баня, больница, а из построек первой необходимости — кузница, конный двор и мельница. То есть посёлок в обеспечении был практически автономным, в село Троицко-Заозёрное каждый раз не наездишься.

Более того, волостное общество потребителей на общем собрании в самый разгар Первой мировой войны постановило открыть фельдшерский пункт, на что было ассигновано по сорок рублей в месяц. Приём больных еженедельно вёл врач, приглашаемый в Троицко-Заозёрное со слюдяных копеек. При этом жалованье ему полагалось вполне достойное для однодневной загрузки — двадцать рублей ежемесячно. Общество оплачивало также и подводы врачу, который приезжал в волостное село со слюдяного рудника.

*«Здесь общество потребителей прогрессирует, так как оно не стоит на одной лишь торговле, но, как хороший пахарь, берёт пласт толще, надеясь получить и хороший урожай»,* — сообщал некий местный житель в одном из номеров красноярского сельскохозяйственного, кооперативного и экономического журнала «Сибирская деревня» за 1916 год.

Факт интересен хотя бы потому, что это первый в истории Рыбинского района и города Заозёрного случай, когда промышленное производство принимало непосредственное участие в развитии социальной инфраструктуры территории присутствия. С созданием Заозёрновской слюдяной фабрики её роль как градообразующего предприятия станет особенно значительной.

Что касается принципа самообеспечения, взятого за основу жизнедеятельности на руднике «Сибирской слюды», нужно особо подчеркнуть: на такой же основе в начале прошлого столетия создавались в Енисейской губернии многие крупные промышленные предприятия, к примеру, Знаменский винокурный завод братьев Даниловых. А по количеству работающих рудник на берегах Кана никак не мог быть отнесён к разряду мелких производств, поскольку здесь трудилось около сотни человек, в основном, конечно, жители окрестных деревень и волостного центра. Владельцы рудника «Случайный» для детей своих работников открыли даже начальную школу: казалось, всё складывалось так, чтобы прибыльная работа предприятия могла со временем сделать производство социально ориентированным. Оставалось только заводские пособия ветеранам учредить по примеру некоторых филантропов, представляющих лучшую часть сибирского купечества...

## КРАСНЫЕ СПЛОХИ В ЗАБОЕ

Использовался ли на руднике детский труд, особенно на сортировке и обрезке слюды? Утвердительный ответ на этот вопрос можно

получить из небольшой статьи столичного учёного Александра Ферсмана, опубликованной в ежемесячном журнале «Природа», который он же и редактировал. Речь в ней конкретно идёт о подростках, так называемых поверхностных рабочих, а также и тех детей, кто был задействован на сортировочно-обрезном участке. Читаем у Ферсмана:

*«Выламываемая слюда выносится на земляную поверхность, где после сушки поступает в особое помещение; здесь больше десятка девушек сортируют её, просматривая на свет её чистоту (для электропромышленности весьма опасными являются железистые включения), расщепляют, отскабливают верхний слой, несколько разрушенный поверхностными водами, и ножом обрезают изломанные или загрязнённые края».*

Ферсман был особенный гость, посетивший Канское месторождение летом 1915 года, в самый разгар мировой бойни. Инфляция уже стучалась в дом обывателя, и детский труд, если ты не социалист-революционер и планов свержения существующего строя не вынашиваешь, можно было расценивать как маленький вклад в общее дело победы над врагом. Нельзя не признать: слюда в её оборонно-промышленном значении тоже активно сражалась.

*«Военная техника нуждается в её применении,— писал Александр Ферсман,— а в самое последнее время явился спрос на слюду для приготовления очков, защищающих глаза от тех ядовитых и разъедающих стекло газов, которыми германцы пользуются для борьбы».*

Учёный спустился под землю и лично проинспектировал слюдяное производство, которое неплохо, в общем-то, велось акционерами «Сибирской слюды». Горизонтальные выработки (штреки) причудливо извивались на максимальную глубину до пятидесяти метров согласно тому, как простирались жилы: шахты на руднике имели не только вертикальные стволы, но и наклонные штольни, и для выемки породы в семи действующих забоях можно было использовать как различные подъёмные приспособления, так и конную тягу. Объёмы выработки сырца, превышавшие четыреста пудов ежемесячно (в общей сложности более шести тонн), свидетельствовали о том, что *«здесь не только положено начало добыче слюды, но и идёт интенсивная работа по расширению предприятия и по обработке и подготовке добытого материала»*, как отмечал минералог Ферсман.

Будущий советский академик, выдающийся популяризатор науки, «поэт камня» имел в виду, конечно, начало *промышленной добычи слюды* — государство постепенно возрождало старинный русский промысел, этот производственный ренессанс наполнялся новым содержанием, приобретая огромное значение для поступательного экономического развития.

Александр Евгеньевич представлял российскую академическую науку, которая в период грозных военных испытаний решила помочь

родной державе, учредив специальную Комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), где председателем был знаменитый академик Владимир Вернадский, а секретарём — сам Ферсман. В критический момент для Отечества учёные смогли донести до правительства основополагающую мысль: наши природные недра богаты крупными слюдяными месторождениями, и мы можем не только полностью обеспечить собственные потребности в этом ценном минерале, который теперь становился стратегическим, но и сделать его важнейшей статьёй отечественного экспорта.

В числе первоочередных эксплуатационных промобъектов называлось и Баргинское (Канское) месторождение, где требовалось вести добычу комплексно, сочетая её с использованием ряда других не менее ценных минералов (берилла, полевого шпата и кварца):

*«Несомненно, что эта разработка имеет хорошее будущее, тем более что выходы пегматитовых жил со слюдой обнаружены на значительной площади, а уже налаженное с прошлого года дело позволит сейчас же ускорить добычу для удовлетворения срочных нужд армии и промышленности, если только удастся справиться с недостатком рабочих рук».*

Большинство идей по добыче слюды и прекращению её вывоза в сыром виде за границу, поскольку это напрямую касалось вопросов национальной безопасности, подал для Комиссии сам Александр Евгеньевич. Находясь в сибирской командировке, в одной из подземных выработок рудника «Случайный» он увидел любопытную картину:

*«В западной части жилы работы натолкнулись на большое скопление чистого кварца, представившего значительные затруднения для бурения, причём один из рабочих обратил внимание на своеобразное свечение камня после удара его балдой».*

В самом деле, от сильного удара металлическим предметом на поверхности минерала взвился целый сноп искр красного цвета, а сам камень на довольно-таки значительной площади начал светиться синевато-белым светом, напоминая фосфорический свет светлячков. В физике подобное явление называется *трибололюминесценцией* — это свечение, которое возникает в результате разрушения кристаллических тел. Сам того не подозревая, Ферсман в обычной корреспонденции с места события точно пророчествовал, совершенно неожиданно выходя на уровень художественного обобщения: через каких-то два года действительно рухнет огромная и некогда мощная государственная структура — Российская империя.

Последствия этого катастрофического обвала скажутся на всех абсолютно сферах жизни, в том числе и на состоянии слюдяной отрасли.

## Авторы



### АРИНЧИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Красноярске в 1951 году. Окончил Красноярский политехнический институт. Кандидат технических наук. Заведовал кафедрой АСУ и автоматики Красноярского инженерно-строительного института. В 1990-е годы работал зам. директора Красноярского филиала госцентра «Природа», зам. председателя крайисполкома, председателем комитета по экологии и природным ресурсам правительства края, зам. главы администрации Красноярского края, зам. губернатора Красноярского края, руководителем дирекции Федеральной целевой программы освоения Нижнего Приангарья. В 2000-е занимал руководящие должности и осуществлял проектную деятельность в нефтегазовой, энергетической и других отраслях. Публиковался в краевых газетах, журналах и сборниках. Автор книг «За яблочным вином» (1992), «Джеликтукон» (1998), «Возвращение на Джеликтукон» (2003). Один из авторов поэтических сборников «Весенние ручьи» (2003), «Поэзия на Енисее» (2006). Член Союза российских писателей.



### ВАЛЕЕВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ

Много лет проработал в провинциальной печати, в том числе 22 года — на Крайнем Севере, в Эвенкии. На пенсию ушёл с должности главного редактора газеты «Эвенкийская жизнь» в 2011 году. Автор и соавтор более двух десятков сборников прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Новокузнецке, Южно-Сахалинске, Екатеринбургe, Санкт-Петербурге, Москве. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси», Общества любителей русского слова, «Рождественская звезда», имени Виталия Бианки, газет «Советская Россия», «Комсомольская правда». Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.



### ВАСИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в 1959 году в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в городе Шарыпово (Красноярский край). Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. В 1986 году был приглашён в газету «Серп и молот», затем работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая

Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиа-проектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.



### ГОРОШКИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА

Родилась 5 августа 1982 года в Красноярске, где и проживает. Член Союза российских писателей. Приз зрительских симпатий в конкурсе «Король поэтов Красноярья» в 2012 и 2016 годах, в 2018-м вошла в пятёрку финалистов конкурса. Выпустила книгу стихов «Никто не умер», вошедшую в лонг-лист Международной Волошинской премии в номинации «Лучшая поэтическая книга 2016 года». Публиковалась в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Культура Алтайского края», альманахе «Паровоз». Обладатель приза симпатий портала «Stihi.lv» в номинации «Неконкурсные стихи» на Международном литературном конкурсе «7-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии». Победитель краевого литературного конкурса имени Игнатия Рождественского в 2018 году в номинации «Поэзия».



### ЗАДЕРЕЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился в селе Ирбей Красноярского края. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал в газетах Красноярского края и Иркутской области, заведующим литературной частью Красноярского ТЮЗа, старшим редактором Красноярского филиала Свердловской киностудии, ответственным секретарём и главным редактором альманаха «Енисей». Руководил Красноярской писательской организацией. Публикации в журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «День и ночь» и др. Автор книг «Дерево единое» (1980), «Хождение за светом» (1986), «Заветное слово» (1987), «Дымы над горой» (1987), «Светлое дно оврага» (1990) и др., изданных в Красноярске и Москве. Директор художественного салона «Дар».



### КАЛАШНИКОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1947 году в Тульской области. Окончил МГПИ на Пироговке. Первая публикация стихов — мартовский номер журнала «Юность» за 1971 год. Работал в «Литературной газете», в издательстве «Эксмо». Публиковался в журналах «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и др. Автор нескольких книг стихов: «Ладонь» (М., 1984), «С железной дорогой в окне» (М., 1995), «Звукоряд» (М., 2007), сборника стихов и прозы «Каво люблю...» (М., 2017), «В центре циклона» (М., 2018), «Ловитва» (М., 2022) Его стихи были представлены в антологиях «Русская поэзия. XX век» (М., 2001), «Русская поэзия. XXI век» (М., 2010). Дипломант Всесоюзного конкурса имени М. Горького за лучшую первую книгу (1984), премии «Московский счёт» за лучшую книгу года (2007). Живёт в Москве.



### КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился в сорок шестом. Вырос в центре России: Костромская, Ярославская и Тверская области, — но любимые места и любимые реки — на востоке. После окончания Калининского политехнического института взял распределение в город Свирск Иркутской области. Потом перебрался в Красноярск. Около 20 лет отработал в пуско-наладочном управлении — постоянные и долгие командировки от Урала до Чукотки. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность» и др. Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулёвая бочка» и др. Печатался в «Литературной газете», в журналах «Дальний Восток», «Сибирские огни», «День и ночь», «Радуга», «Киевская Русь», «Наш современник», «Дети Ра», «Арион», «Юность», «Подъём», «Урал», «Зарубежные задворки», в альманахах «День поэзии», «Паровоз» и др. Был составителем в книжной серии «Поэты свинцового века», подготовил сборники А. Барковой, А. Тинякова, Н. Рябеченкова, А. Кутилова.



### КЫРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Выпустила два сборника рассказов. Лауреат премии имени И. Д. Рождественского, лауреат премии «Литературной газеты» «Под знаком Куприна». Финалист национальной литературной премии «Писатель года». Активный участник литературного фестиваля «КУБ». Публиковалась в журнале «Сибирские огни».



### ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР

Родился в 1966 году и вырос на Кубани, в городе Гулькевичи, родители — школьные учителя. После окончания школы работал художником-оформителем, параллельно готовясь к вступительным экзаменам в художественное училище. В 1987 году поступил в Красноярское художественное училище, в 1991-м по распределению поехал в село Казачинское, где пять лет работал преподавателем в художественной школе. С 1996 года — свободный художник, работает в стиле, который сам определяет как «русский народный реализм». В 2001 году выпустил сборник стихов «Валенки самурая» (издательство «Кларетианум»), через два года сборник был переиздан с дополнениями и новыми иллюстрациями. В 2008 году под редакцией С. А. Марчука вышел пробный тираж книжки «Валенки самурая», где в качестве иллюстраций были использованы живописные работы автора. Стихи из сборника публиковались в журнале поэзии «Арион» (Москва), в альманахах «ДиН» и «Енисей», в польских альманахах Odra и Tenet.



### МАМАЕВА АЛЬБИНА РОМАНОВНА

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Живёт в Красноярске.



### МЕЛЬНИЧЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Родился 28 февраля 1953 года в посёлке Усть-Мая Якутской АССР. Десятилетку окончил в селе Шеломки Красноярского края, затем — Красноярский политехнический институт. Участник нескольких краевых семинаров и IX Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1989). Автор сборников «Фанера-2» и «Фанера-3» (Красноярск-26, 1991), «Фанера-5» (Красноярск, 2001), «Кирпичи» (2008), «Провода» (2012), «От Змеи до Змеи» (2013). Участник многих коллективных сборников и антологий. Член Союза российских писателей. Живёт в Железногорске.



### НЕМЕЖИКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1965 году в Красноярске. Окончила с отличием два факультета в КИЦМ (ныне ИЦМИМ СФУ) по специальностям «горный инженер-геолог» (ленинская стипендиатка, 1987), «экономист» (1993). В 2019 году стала лауреатом краевого литературного конкурса имени И. Д. Рождественского в трёх номинациях: I степень — «Драматургия», II степень — «Поэзия», III степень — «Произведения для детей». Публикации: альманах «Енисей», журнал «День и ночь». Живёт в Красноярске.



### ПЕТРОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (1932–2011)

Родился 2 января 1932 года в Туле. В 1954 году окончил историко-филологический факультет пединститута в Куйбышеве (ныне Самара) и уехал учительствовать в глухое степное село. Потом был призван в армию, участвовал в известных событиях 1956 года в Венгрии. После увольнения в запас уехал в Сибирь, в Тюменскую область. Но и на этот раз в учителях не задержался — был «призван» на работу в райком партии. Правда, через несколько лет понял, что по натуре не аппаратчик, а настоящее его место — в газете. Почти 20 лет был журналистом, прошёл путь от «районки» до правительственных «Известий». В качестве сборора-известинца в 1968 году приехал в Красноярск. В 1979 году принят в Союз писателей СССР, и с этих пор «биография» как переход с должности на должность закончилась, остались только книги. Первая вышла в 1966 году в Куйбышеве, последняя («Жизненный круг») — в 2006 году в Красноярске. Были и московские издательства. А всего под его именем увидело свет около 20 изданий, не считая участия в коллективных сборниках, журнальных повестей и тьмы рассказов, очерков, статей в различной периодике.



### ПОЛОВИНКИНА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА

Родилась в 1947 году в Калининграде. В 1959 году семья переехала в Сибирь. В 1971-м окончила геологический факультет Новосибирского государственного университета. Дальнейшая жизнь связана с геологической службой Красноярского края. Специалист по минералам и горным породам (петрограф). В местной печати опубликовала несколько очерков

по геологическим вопросам и о коллегах-геологах. В 2016 году выпустила небольшую книгу «История Центральной лаборатории ОАО „Красноярскгеология“ по воспоминаниям ветеранов». В настоящее время ведёт блог linney28, где выкладывает фотографии минералов из личной коллекции и очерки по геологии Красноярского края.



### ПОПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился 5 января 1946 года в Красноярске. После окончания Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе (1968), работая геологом на северо-восточных «просторах нашей Родины чудесной», создал множество рассказов, где в качестве скромных героев эпохи выступали сибирские бичи, пьяницы, проститутки, чиновники, интеллектуалы, графоманы и коммунисты. Первая серьёзная публикация в журнале «Новый мир» (1976) с предисловием Василия Шукшина принесла ему всесоюзную славу. Принятый в Союз писателей в 1978 году, Попов через семь месяцев и тринадцать дней был из Союза исключён за создание (вместе с Василием Аксёновым, Андреем Битовым, Виктором Ерофеевым и Фазилом Искандером) легендарного неподцензурного альманаха «Метрополь», вышедшего на Западе и ставшего причиной последнего крупного литературного скандала «брежневской эпохи». В 1980 году преследовался КГБ как один из авторов и редакторов альманаха современной литературы «Каталог», опубликованного в США. В 1988 году восстановлен в Союзе писателей. В мае 1980 года вошёл в «Клуб беллетристов».



### ПОПП АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1947 году в селе Ургун Икстимского района Новосибирской области. Окончил Красноярское художественное училище имени Сурикова, член Союза художников с 1989 года. Участник многочисленных краевых, зональных, республиканских выставок в городах Сибири и в Москве. Его произведения находятся в собраниях Красноярской художественной галереи и других музеев, в частных коллекциях России, Германии, Китая, Южной Кореи.



### ПУЧКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Родился 24 июля 1963 года в посёлке Хандальск Абанского района Красноярского края. В 1980 году окончил Абанскую среднюю школу №4. После службы в Советской армии в 1985 году поступил на должность милиционера ППС. В отставку вышел в 2006-м в звании капитана уголовного розыска. Живёт в Сосновоборске. Рассказы неоднократно печатались в журналах Союза писателей, в том числе в журнале «Страна Озарение», вошли в сборник «Мелодия жизни» издательства «Серебро слов», на конкурсной основе вошли в сборники «ARONAXX I», «Видимый свет», «Происхождение мрака», «Алиса», «Литературный фестиваль», «Книжным детям», «Мемориал духа» издательства «Перископ-Волга» и в сборник «Песня» литературного агентства «Новые писатели».



### САМУЙЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Родился 5 января 1951 года в глухом озёрном краю Тверской области. В 1974 году окончил Сызранское военное лётное училище, через 8 лет уволился в запас. Работал 20 лет за полярным кругом, на Таймыре, там и начал писать. Печатался в краевом альманахе «Полярное сияние», в журналах «Природа и человек», «День и ночь», «Уральский следопыт». Издано пять книг. Сейчас в творческой работе временное затишье, связанное с болезнью.



### СКАКУН НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Родилась в посёлке Балахта Красноярского края в 1969 году. В старших классах печаталась в новосёловской газете «Путь Ильича». Окончила школу с золотой медалью и, сдав один экзамен, поступила на филфак КГУ. Ушла с третьего курса — помешала болезнь. С 1997 года работала в балахтинской районной газете «Сельская новь», сотрудничала в региональном еженедельнике «Экран-информ». Победила в краевом конкурсе, посвящённом 70-летию края. В 2005 году создала свою газету — «Околоток». С 2009 года живёт в Чехии. Лауреат литературной премии Фонда В. П. Астафьева. Публикации в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Москва», «Транзит-Урал». Автор книги «Дырки на карте» (Новосибирск, 2008).



### ФИЛИППЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

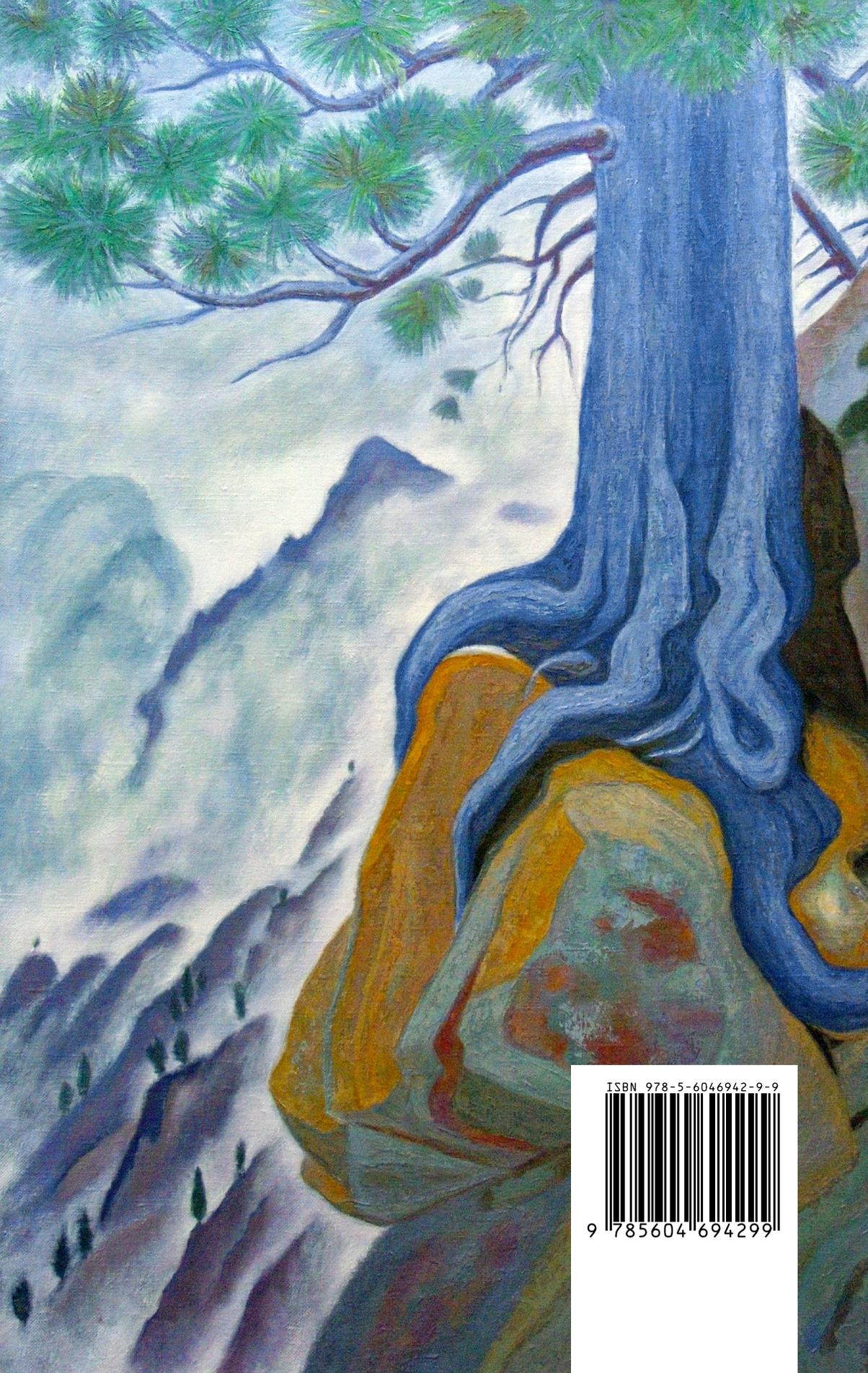
Родился 7 декабря 1983 года в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Основатель и руководитель литературного цеха «Образ». С 2013 года — главный редактор литературных альманахов «Кольчугинская осень» и «ОБРАЗ».



### ЮРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в селе Вожгалы Кировской области в 1954 году. Окончил факультет журналистики УрГУ имени А. М. Горького (Екатеринбург). Работал в областных и краевых изданиях Самарканда, Томска, Красноярска, собственным корреспондентом газеты «Гудок» в Красноярске. Лауреат конкурса «Журналистская Россия-2009», победитель и лауреат IX межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь — территория надежд» (2010) в номинациях «Территория интеллекта» и «Добро пожаловать в Сибирь!». Публикации в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Молодая гвардия», «Мир Севера», альманахе «Новый Енисейский литератор». Автор портала «Российский писатель» и сетевого журнала «Парус» (Москва), редактор отдела очерка и публицистики альманаха «Новый Енисейский литератор». Автор книг «По Сибири с государевой оказией» (2002), «Шёл к Тунгуске звездолёт», «Звёздная миссия в прошлое» (2008), «По шпалам из века в век» (2011), «Зеркало антиквара» (2012). Научно-популярное издание «100 лет неизвестности» (2018) стало «Книгой года» по версии Красноярской краевой универсальной научной библиотеки имени В. И. Ленина.





ISBN 978-5-6046942-9-9



9 785604 694299